

Михаил КУРАЕВ

ДРУГИЕ ЛЮДИ

Роман, повести, рассказы



Санкт-Петербург
2014

Михаил Кураев

Другие люди

2014

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6

Кураев М. Н.

Другие люди / М. Н. Кураев — 2014

ISBN 978-5-4311-0090-1

Новый сборник прозы писателя, кинодраматурга, лауреата Государственной премии РФ 1998 г., премии Правительства Санкт-Петербурга 1994 г., премии Л.Н.Толстого «Ясная Поляна» 2010 г. в номинации «Современная классика» Михаила Кураева.

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6

ISBN 978-5-4311-0090-1

© Кураев М. Н., 2014

Содержание

Ночной дозор	6
I	6
II	7
III	9
IV	14
V	19
VI	22
VII	31
VIII	35
IX	36
X	37
XI	40
XII	43
XIII	46
Саамский заговор	49
1. Счастье уполномоченного Комитета Севера при ВЦИК	49
2. На митинге	56
3. Акт на одной трети листочка	63
4. Лапландия	66
5. Вагончик счастья	74
6. И все-таки обидели	78
7. Заглянем в органы	82
8. У камелька о странностях прогресса	85
9. У камелька о наследстве царицы Прасковьи	89
10. Человек в простой шинели	95
11. Иван Михайлович – отточенный клинок	101
12. Опережая замыслы врага	104
13. Отдых на полях истории	108
Конец ознакомительного фрагмента.	110

Михаил Николаевич Кураев

Другие люди

© Кураев М.Н., 2014

© Издательство «Союз писателей Петербурга», 2014

Ночной дозор
Ноктюрн на два голоса при участии
стрелка ВОХР тов. Полуболотова

Но главное в рассказах деда было то, что в жизнь свою никогда не лгал, и что, бывало, ни скажет, то именно так и было...

Н. В. Гоголь. Вечер накануне Ивана Купала

Не дай бог, если мы заразимся болезнью боязни правды.
И. Сталин, т. 12, стр. 9

I

«Я белые ночи до ужаса люблю...»

II

...Ну что за чудо этот ночной свет, что изливается на всю землю разом, на все дома, мосты, арки, купола, шпили, да так, что не падает от них тени, отчего каждое творение рук человеческих вступает в справедливое соревнование с подобными себе, не обманывая зрения ни солнечными блестками, ни летучей мишурой лунного сияния.

Зависнув над собственным отражением в бесчисленных водах своих рек и каналов, словно по волшебству ставшая вдруг невесомой, вся громада города, кажется, вот-вот качнется от легкого ночного ветерка, залетевшего в каменные дебри с уснувшего в плоских берегах залива, качнется, задрожит мелко-мелко, смешаются, размоются как в затуманенном слезой глазу граненые черты окаменевшей истории, и все растает в необъятном пространстве сошедшего на землю неба...

...И понесут свои беззвучные воды обе Невы, три Невки, несчетные Фонтанки, Мойки, Пряжки, Смоленки, Карповки, Таракановки, разом утратившие свои имена и прозвания, мимо низменных пустынных берегов, мимо плоских островов, высшей точкой своей удаленных всего на три метра над уровнем моря... Долго и тихо будет бежать вода, не возмущенная ни веслом, ни винтом, не проткнутая увесистым якорем, не выкинутая на берег волной от строптивного катера... А потом, глядишь, и снова зашумит камыш у мелководных протоков, поднимутся снова ели по краям коварных болот, подернутых густой рыжей ржавчиной, раскинутся пустоши и откроются умытому слезой взору дальние холмы, отступившие чуть не на край горизонта, чтобы просторней было могучей и беспокойной реке искать себе угодное ложе в рыхлой болотистой равнине...

Что за чудо эта светлая необъятная тишина, утопившая в бездонной своей глубине грохот, звон, клекот, скрипы, лязги и натужный гул неутомимого города; тишина затопила все улицы, дворы, властно разлилась по пустынным площадям, обнаженным проспектам, затаилась в полумраке подворотен... И не будь этих подмигивающих друг дружке желтым глазом светофоров, не прошуми липким шелестом по умытому асфальту редкая машина, не рассыпая скрипучим стоном стая чаек над неподвижной водой, и город будет казаться уже не затаившимся, не спящим, а мертвым...

Но летят сквозь ночь, едва касаясь неподвижной воды, огромные призраки-корабли, стремительно пронзая игольное ушко разведенных мостов. Ни души на просторных пустынных палубах, ни души на крыльях ходовых мостиков, лишь по стеклам рубки скользнет отражение проносящихся мимо дворцов, и не разглядеть ни человеческого лица, ни фигуры... только лязгнет вдруг железная дверь с круглым, словно тюремный «волчок», оконцем, шагнет через комингс полусонный дневальный по камбузу, да и плеснет в черную воду, прижатую крутым корабельным бортом к каменной набережной, какую-нибудь дрянь из ведра, и снова захлопнет железную дверь, откуда вырвалось на мгновение шумное дыхание корабельных недр...

Задрожит на всколыхнувшейся, но так и не очнувшейся от сна воде образ прибрежных дворцов, поплывет, словно став на мгновение мягким, распластанный по воде шпиль, увенчанный кружевным корабликом, – а у другого берега качнулся низвергнутый под приземистые бастионы бывшей тюрьмы ангел на золотом штыке – вот уже минута, и снова в непроглядную бездну вод под крепостными стенами указывает золотой перст...

Что за смысл в этом указании?..

А этот ангел, что вознесен в поднебесье и достает распахнутым крылом прозрачные розовеющие облака, куда он зовет? что обещает?..

...В тихую белую ночь и зверью, некогда изгнанному из своих родных пределов, кажется, что затянувшееся недоразумение закончилось, и пришла пора вернуться назад, в края своих

полузабытых предков, в края, изрядно пострадавшие, почти неузнаваемые, но неотразимо влекущие к себе.

Торопливая цепочка диких уток, шурша трепещущими крыльями в плотном полусонном воздухе, стремительно проносится над рекой, словно отчаянные разведчики, посланные взглянуть, не освободились ли от нелепых камней сытные болотины, привольные лагуны и тихие узкие ерики; нет-нет да и забредет, обманутый тишиной и пустынностью улиц, бродяга-лось и уставится в свое великолепное отражение в хрустальной витрине универмага; в такую ночь и плутовка-лиса, уставшая бежать от расползающегося во все края города, выведет из заброшенной канализационной трубы, где устроила гнездо, свое доверчивое потомство, лис-горожан в первом поколении, покажет им небо, даст вдохнуть ветерка с легким запахом дальнего леса, что-то пообещает и попросит запастись терпением... И не вспугнет их гулкий грохот, разнесшийся вдруг окрест, то лесной великан, красавец черный дятел ворвался противу всех правил в чуждые ему пределы, уперся литым хвостом, как неколебимый конь под «медным всадником», в подсохший ствол и бьет своим увесистым носом, бьет тревогу, осыпая шелухой коры и мелкой щепкой немногих сошедшихся внизу зевак, разглядывающих кто первый раз в жизни, а кто и последний диковинного красавца, прилетевшего спасти задыхающуюся в городском угаре сосну...

...Дымчатая пелена тонких на просвет облаков огромным покрывалом раскинута над городом на ночь. Не хватило только на самый край, где город кончается и где светится у горизонта золотистым заревом широкая чистая полоса неба. И кажется, что воздух там промытый, свежий и нет там, наверное, ни пылинки, ни копоти... И верится, что оттуда придет новый день и будет он чище, светлей, чем все дни, что до сих пор сходили на землю. От уверенности этой в душе покой, и не хочется торопить время...

III

«...Вот я и говорю... Хорошо в такую ночь на обыск идти или на изъятие!

Случись мне сейчас доставлять кого-нибудь, так я бы, наверное, и машину отпустил, а прошелся бы пешочком по улицам... Под трамвай бросится? Да не ходят же трамваи!.. Убежит? А куда ему бежать? Никуда не убежит... Ну что, что инструкция? Всю жизнь в инструкции не загопишь. Разве вся наша жизнь какой-нибудь инструкцией предусмотрена? Или – белая ночь, опять же... Ну-ка, спрячь ее, отмени, запрети! Не упрячьешь.

Знаю, все предусмотрено: «путь следования», «способ доставки», «предупредительные меры»...

А меня кто предусмотрел? Кто мою жизнь сочинил, кто выдумал? Может быть, и предусматривалась, так только негласно, да и сейчас делают вид, что ничего интересного, ничего поучительного в моей жизни не было... Да и как ее усмотреть, если на виду она не лежит и даже главной своей частью как раз и расположена за зримыми пределами...

Может быть, кто-нибудь сейчас от своей жизни отказывается, таит, а я своей жизни не стесняюсь, жил-то не для себя, был, можно сказать, солдатом, как у нас говорили, отточенным штыком... Наверное, и у меня какие-нибудь недостатки были. Возможно. Но вопиющих недостатков не было, побегов лично у меня не было, представьте себе! От меня всегда можно было ждать добросовестных действий и грамотных поступков, и поэтому могу сказать с чистой совестью: хотите – хвалите, хотите – журите, а от эпохи своей меня не оторвешь! Была задача – слиться с эпохой, и я с ней слился! А эпоха была прекрасная, каждый день приносил на алтарь новые успехи благодаря сознательному отношению кадров к своему делу. И я свой долг исполнял до самозабвения самого себя и своей семьи, и не задавал вопросы, когда меня употребляли на разные дела, и на труднейшие и на простые. Да, приходилось расчищать тухлятину, расчищать дорогу новому миру, чтобы люди могли спокойно веселиться и рукоплескать вождям. Время было такое – себя забыть, с эпохой слиться! Сейчас многое не хотят вспоминать, а тогда вопрос стоял четко: взбесившиеся псы капитализма не могут пережить наших триумфальных успехов и пытаются разорвать на части самых лучших из лучших людей нашей земли... А для напоминания о прожитом мною времени, ставшем уже достоянием еще ненаписанной истории, подчеркиваю только один момент. Когда на шахтах и рудниках, на стройках и во дворах фабрик, в цехах и на верфях, не говоря уже про учреждения, люди собирались все вместе и в едином строю, все как один поднимали руки, голосуя, допустим, за смертный приговор троцкистско-зиновьевским агентам фашизма, разве они просто крови хотели? Девушки эти симпатичные, пионеры, тем более, или пентюхи какие-нибудь деревенские? Нет, этого они не хотели, они хотели слиться с эпохой, сливались и творили историю... Все вместе, своими собственными руками... Говорят теперь, что кое-кто вроде ошибался, не верю, но допускаю, а вот то, что народ ошибался, уж извини! За такие взгляды и сегодня никто не помирует... Когда Андрей Януарьевич требовал, чтобы за каждый волос вождей преступные элементы отвечали головой, он находил всенародную поддержку, не помню, чтобы кто-то ему возражал или спорил! Непревзойденная любовь к вождям была, непревзойденная! Это сейчас – улыбочки, ухмылочки, анекдотики...

Вообще-то ты сколько уже на этой фабрике? Три года? Смотри-ка, и уже в праздничное дежурство назначают... Верно, предпраздничное, завтра еще тридцатое, но все равно. Дорожи. Тебя из резерва поставили? Я знаю. Должен был Телюкин дежурить, с гнильцой человек... Я знаю, многие упираются, отказываются под разными предлогами, лишь бы в праздничное дежурство не залететь, а я так с охотой. И не для того, чтобы ночь там или день в директорском кабинете посидеть при телефонах и красной папке. Уж чего-чего, а кабинетов повидал, и пошире повидал, и вид из окна не на занюханый этот садик да заводской забор, а можно

сказать на главные площади Северной Пальмиры. Из Смольного выводил... Что ни говори – целая жизнь за плечами...

Обратил внимание, какая здесь мебель?

Я только устроился сюда, первый год работал, взял отпуск за свой счет, на участке надо было повозиться, а за свой счет только с резолюцией директора, зашел к Николаю Ильичу подписать, посмотрел на эту мебель, только что не ахнул. Спросил еще тогда, между прочим: «Не знаете, Николай Ильич, как в ваш кабинет эта мебель попала?» Он говорит, что она вроде тут еще чуть ли не с довоенных времен... А я как раз в довоенные времена ее и описывал. На набережной, почти напротив Академии художеств, домик такой, на вид ничего особенного. Только в домике этом на втором этаже была казенная квартира, как говорилось, генерал-полицейстера Санкт-Петербурга, а в последующие времена, надо думать для аллегории, жили там начальники ленинградской милиции. А мебель так эта там и стояла. Вот как раз в предвоенное время был я в группе, хозяин этой квартиры оказался элементом, если память не подводит, из право-троцкистского центра, так что убрали его с полной конфискацией. Все эти предметы я описывал: и бюро вот это с бронзовыми египетскими головками, тогда они еще на всех углах были... А сейчас уже вон сколько не хватает. Диван этот самый, с деревянной гнутой спинкой, и лимонная обшивочка, столик... Кресел шесть было, все шесть в хорошем состоянии, сейчас только два вижу... И что меня еще в то время восхитило, так это рояль из карельской березы! Кабинеты карельской березы встречались, Ленинград, конечно, город богатый, но чтобы прямо рояль, это видеть пришлось первый раз в жизни... Николай Ильич поинтересовался, почему я про мебель спрашиваю, я ответил уклончиво, дескать, очень красивая, рояль в особенности...

Сколько поучительных историй хранится под этой синей вохровской тужуркой! Бури прошел, ураганы, можно сказать, и уцелел, и это особенно ценно... Оглянусь, бывало, и сам не понимаю – как уцелел?

А до того, как сюда пришел, я в тюрьме побыл, в ДПЗ меня наши устроили, старшим контролером по этажу... Ну, что там? Режим знакомый, посты по табелям, вообще-то дело нехитрое, а ведь не смог, ушел. И знаешь отчего? Контингент... Не тот нынче контингент, с прежним не сравнишь. Раньше народ все больше положительный, тихий, несколько пришибленный, глаза таращат да воздух, как рыбы, хватают... Правда, писать любили, куда только не писали, ну, первое дело, конечно, Сталину, это все тут же и оставалось, а в другие адреса хоть и редко, а доходило, потом, конечно, обратно возвращалось для ответа... Да... Если раньше, ну, один из пяти был опасный, так теперь они чуть не все такие... Он у тебя даже в карцере, что хочет, творит, и чуть что: «Прокурора зови! Зови, гад, прокурора!» А ты ему только пять суток накинешь, это если подсудственный, ну, если осужденный, можно и до десяти, и все!.. Что творят? Да что хотят. Первое дело, это в карцере лампочку как-нибудь повредить. Как лампочка погасла, так вызывай из хозобслуги, а тот ему и покурить подсунет и новости... Какой уж тут режим? В последнее время во внутренней охране и собак завели, дали собачек на усиление, а все равно... Спрашивали меня, когда уходил, почему не остаюсь, почему перехожу даже с потерей небольшой в деньгах. Ответ один – ухудшение контингента. Пильдина знаешь? Тоже из ДПЗ ушел, нет, работать стало несравненно тяжелей...

Нет, лишнего не скажу, и не потому, что подписка или там, как говорится, честь мундира, просто не было и нет у меня в привычке лишнее говорить, поэтому, видишь, жив и здоров еще, не жалуясь, люблюсь сквозь прозрачные окна на умытый весенний город, в отставку вышел и при орденах и с пенсией, хотя и не по своей инициативе, а все-таки не так, как Пильдин... Знаешь Пильдина? В транспортный его пристроили... А Катеринича с шестого поста? Их-то поперли, о-го-го! горели ребята. Как раз тогда вышла директива не считать службу в органах особой привилегией при назначении пенсии. Это были времена, я тебе скажу... Сначала даже несколько судов успели провести. Ты-то не помнишь, наверное, а начальника Новгородского управления судили, дали ему десять лет! За что, спрашивается? Он что, для своего

удовольствия? время было жесткое, и он был жесткий... Дали ему десять лет и сами задумались, поняли все-таки, что так можно очень даже далеко зайти. И потом уже пошло на тормозах, по-человечески, по-людски. Тогда много наших в вохру пошло. А директор-то наш, Николай Ильич, до сих пор на меня косится, так и не пойму, вспомнил или не вспомнил... Не признается, видно, боится ошибиться, а я его отлично помню по сорок девятому году. Он же вовсе не Николай, его же настоящее имя – Нарзан. Ордер по паспорту выписывается, а в паспорте он – Нарзан. Он же из беспризорников, у него вообще до детдома имени не было, а было такое название, наверное, откуда-нибудь с Кавказа в Питер занесло. Понятно, с таким именем жить не очень-то удобно, надо всем объяснять... Знаешь в Лесном «Дом ученых»? В парке, около Политехнического. Устраивали в этом «Доме ученых» свои встречи, уж не знаю, что за городские начальники и что это были за вечера и встречи, только все они потом по «58-прим» пошли. А этот самый Нарзан Иваныч, именуемый ныне Николаем Ильичом, был в этом «доме» директором-распорядителем. Сначала его не трогали, а потом и он себя обнаружил...

Я ж действительно белые ночи до ужаса люблю, столько у меня всего с ними связано, а последнее время – воспоминания.

Ну что такое, с одной стороны, белая, а с другой, ночь? Ошибка природы! А может, сон? Честное слово, сон. Иногда сижу и думаю: город спит и сам себя во сне видит. А оглянешься, иной раз и думаешь, может, жизнь вся сном была? Что от нее осталось?

Жизнь прожил, как по минному полю прошел, а кому рассказать? Себя не жалел, знаю, что риск был большой, а делу отдавался без вопросов... Ордена? А что ордена? Был у нас генерал Поддубко. Раз он меня прихватил с собой в подшефный детский дом, вот так же, под праздник, только на ноябрьскую. Он в орденах, при параде, а я гостинцы нес, яблок ящик, конфетки там, прянички, вафельки... А Поддубко был фигурой, у него к Лаврентию Павловичу прямой ход был, все это знали, а кто не знал, тот от самого генерала мог услышать, дружбой с Лаврентием Павловичем он гордился, да и кто бы не гордился?.. Так вот детдом, что вышло... Только он в большую ихнюю комнату вошел, они как на него набросятся, особенно мелюзга. На диван только что не повалили, на колени лезут, за погоны хватают, ну и ордена конечно! Орденов у него было порядочно. Крупные ордена. Мальчишки орут: «Это ему за танк дали!» А другие спорят: «Ленина» за танки не дают, это за самолеты!» И начинают его пытаться с пристрастием: сколько он танков подбил да сколько сбил самолетов, форма-то с голубым, на летчиков похожа. И галдят так, что он и слова сказать не может, а дали бы ему слово, что бы он рассказал? А ордена были только за конкретные задания, а не за выслугу да к годовщине, как нынче модно стало. Про какие «танки» и «самолеты» он теперь своим внукам рассказывает? Вот, выходит, и моя биография вроде тоже никому не нужна. А ведь прожил, как велели! Как велели, так и прожил. Только где они, те, кто велели? Я ведь без приказа, без указания, без команды, может, за всю жизнь, ни одного шага не сделал, хвалили, награждали, в пример ставили, а теперь? Будто все в другой жизни осталось... Разве можно вот так жизнь взять и оборвать, люди-то те же...

Пильдина возьми, машины начальству подает, а чего на людей кидается? Турнули без пенсии, это обидно, здесь любому посочувствуешь. Правду сказать, жесткий был служака, обычно его посылали, когда на транспорте надо было брать или из другого города доставить, из Лодейного Поля доставлял, из Киришей, из Луги. Не любит он меня, никогда не здоровается, будто не знакомы. Знакомы, еще как знакомы. На этой самой фабрике в тридцать пятом году он в электроцехе работал, а больше по комсомольской части старался. Сын сапожника, образования кот заплакал, вот и ударился в комсомол. Думал, заметят. Заметили. Пришла на фабрику разнарядка: двоих в Межкраевую школу НКВД, Гороховая, 2, место знаменитое. Подали двух кандидатов, второй не прошел, а Пильдина взяли. В 36-м взяли, а уже в 37-м по причине острой нехватки кадров досрочно выпустили, хотя курсы, вернее школа, были двухгодичные. Понадобился народ для дела, и очень остро, вот и ограничились одним годом обучения.

И в школе он отличился. Была там какая-то волейбольная команда, о ней и не слышал никто, а Пильдин, тут уж ничего не скажешь, играл классно, и в распасовочке, и у сетки. Команду сделал – гремела... Но где гремела? В наших кругах. Хоть люди и молодые, еще никому не известные, а как-никак бойцы незримого фронта, так что приходилось им играть просто со своими старшими товарищами с Литейного и с командами из воинских организаций. Народ молодой, азартный, разделявали они своих старших товарищей под орех. У команды – авторитет. Кто капитан? Капитан – Пильдин. Кстати, его и в Ленинграде оставили, и звание капитанское довольно быстро получил, из ихнего выпуска вообще первый, и еще до войны нацеливался на ответственные дела и выполнял их резко. Глушанина надо было, например, брат, секретаря Новгородского горкома. До войны Новгородской области не было, а у Глушанина этого с местным товарищем из НКВД были контры какие-то, то есть взаимная неприязнь, и поручить ему брать Глушанина как бы неэтично, подозрения на месть могли возникнуть, личные счеты... Нет, в Новгород не посылали. Не знаю, уж прибыл Глушанин или вызвали его в Ленинград на совещание, дело обычное, а у нас как раз был культпоход в Малый оперный, с женами, с буфетом, редкое даже по тем временам мероприятие. Во втором антракте вышли покурить прямо на площадь, тепло, каштаны цветут, стоим, курим, погода отличная, настроение... Подкатывает наша «эмочка», прихватили Пильдина и вперед!.. Оказывается, был уже и ордерок сделан, и в Смольном прямо с совещания ему этого новгородца и выдали.

Межкраевая школа, кстати, как раз рядом с Исаакиевской площадью была, так что на вечернюю прогулку ходили с песней вокруг германского посольства. Любимая у них была: «Стоит на страже...» Неловко с песней получилось. Текст помнишь?

Стоит на страже
Всегда, всегда!..
А если скажет
Страна труда!..
Винтовку в руки,
В ремень упор...
Товарищ Блюхер,
Даешь «Отпор»!..

Песня лихая, маршировать легко, только летом как раз 37-го полетела вся военная головка, вместе с ней исчез и «товарищ Блюхер», потом слышу, через некоторое время опять поют. И «упор» остался, и «Отпор» остался, а вместо «Блюхера» пели «дальневосточная, краснознаменная», даже еще лучше.

На Исаакиевской до самого начала войны у посольства флаг со свастикой висел. Я, к слову сказать, с графом Шуленбургом лично и за руку... Он ехал поездом из Финляндии в Москву, тогда же было, в 37-м. Назначают меня в гласную охрану, а гласная – значит в форме. Встречали его на Финляндском вокзале, нас всего четверо было, а сколько в негласной, я этого знать не мог. Выходит из вагона типичный такой немец, ни с кем не спутаешь. Его встречают, мы – как полагается, «коробочкой», до него, ну, как до тебя, даже ближе. А он, хоть и граф, и солидный такой, а улыбается и со всеми за руку. И мне руку протягивает, улыбается и что-то еще говорит по-немецки. Я не понял, мы тогда усиленно эстонский, латышский и литовский учили, на немецкий нас не ориентировали. Мне потом пересказали слова Шуленбурга, оказывается, он пошутил: «Прогнали, – говорит, – графов, а теперь вон как охраняете». Ну, я, чтобы дураком не выглядеть, улыбнулся, и оказалось очень даже уместно, Шуленбург, наверное, подумал, что я его и без переводчика понимаю. В сорок четвертом Гитлер повесил его на крюк за подбородок. Знал бы, что Шуленбург еще в сорок первом предупреждал Сталина о готовящемся нападении и даже дату называл, висеть бы ему на крюке тремя годами раньше.

Вот тебе и граф! Он же официально послом был в СССР, а себя при Гитлере пешкой не считал, имел свое мнение, жизнью рисковал, хотел войну с нами предотвратить, понимал, что Германия об нас зубы сломает, и пошел фактически на предательство, на государственную измену с точки зрения Гитлера. На что он только рассчитывал, вот самоуверенность к чему приводит...

Меня в гласную часто брали, за габариты – рост пятый, размер пятьдесят четвертый, спина, как щит у «максима»...

А если к Пильдину вернуться, был у нас с ним один эпизодик, был... Давай-ка сейчас ты без меня здесь посиди у телефонов на всякий случай, я территорию обойду, а вернусь и расскажу, занятный эпизодик...»

IV

«На проспекте здесь, чуть подальше, в сторону Льва Толстого, к площади, сразу за столовкой арка, а за аркой мастерская, где шариковые ручки заправляют. Заходил? Ну!.. Обратил внимание, помещение небольшое, и только один вход, с улицы, и витрина во всю стену, дверь и витрина, помещение метров 18–20 квадратных, не больше, и никаких тебе тылов... Вот за этой витриной на виду у всех прохожих мы с Пильдиным две ночи провели и один ясный день. Вот тебе и незримый фронт! Останавливайся все, кому не лень, стой перед этой самой витриной и разглядывай... Разглядывали, только трудно сказать, понимал кто или нет, что они видели. Вообще-то большинство людей редко понимают то, что у них на глазах происходит, как любил говорить Казбек Иваныч: «Наш человек привык ушами видеть!» Да, за витриной этой картинка, конечно, странная, только мало ли странных картинок в наше время было...

Сорок восьмой год, июнь месяц, суббота. Поезд такой-то, вагон такой-то, место такое-то. Снять на станции Тосно и доставить: рост чуть ниже среднего, комплекция спортивная, возраст 37, волосы слегка вьющиеся, нос правильный, губы-одежда и т. д. Впрочем, до волос вьющихся еще далеко было, не успели отрасти. Но вот особые приметы: «кисти рук маленькие».

И правда, когда брали, я как раз обратил внимание, что это за примета «кисти рук маленькие»? Оказался довольно крепкий молодой мужчина, сложение хорошее, правда, одежда на нем очень свободно висела, морда даже широкая, симпатичная, а кисти рук, как у девочки... Дали нам ЗИС. ЗИС-101 отличнейшая машина, не то что «эмочка», в «эмке» сидишь торчком, как кот на боровах, а в ЗИСе прямо как на диване... Примчались мы в Тосно часам к шести, на станцию, через полчаса примерно подошел поезд. Минуту он там стоит... Нет, вру! Нам его как раз остановили, на минуточку. У него в Малой Вишере была первая остановка, но туда мы уже не успевали. Сняли мы этого, «кисти рук маленькие». Группа наша три человека: Хунт Вальдемар, эстонец, человек изумительно хладнокровный и сдержанный просто поразительно, как грузинский князь, вообще-то он по-русски не очень хорошо, вернее, не очень быстро понимал, отличный был парень, вторым номером был я, и за старшего группы Пильдин, он уже был в майорах, хотя у него шесть классов, а у меня почти оконченное среднее. Все идет спокойно, не предвещает никаких неожиданностей. Где-то около девяти вечера приезжаем в город, везем его во внутреннюю тюрьму, в полит-изолятор, а там его – не принимают! Представляешь?! Не принимают. Здесь надо отдать должное, работы было много, страшно вспомнить, брали иногда по 500–700 человек за ночь, но все исключительно по закону, как полагается, порядок был! Был порядок исключительный. Если коммунист, то без санкции райкома не арестовывали, если райкомовский человек, то санкция обкома непременно. Не надо думать, что мы вот так сами по себе работали. Чтобы без санкции райкома арест? Или обыск без ордера? Да не было этого никогда. И не могло быть такого! А уж чтобы в изолятор кого-то без санкции и соответствующего документа... Только здесь случай оказался особый, можно даже сказать, исключительный. Ни санкции, ни постановления. Брали по звонку, по телефонному звонку, по личному указанию, оперативно. Пильдин рассчитывал, что к нашему возвращению все будет оформлено, а тут суббота... трудно сказать, что там произошло, но бумаг нет, а у нас устное приказание, кому его предъявишь? Ну, Пильдин грудью на начальника тюрьмы, то есть изолятора, пошел: «Принимайте арестованного, лично отвечать будете!..» А тот тоже не из робкого десятка, да что ему майор, если он умел и с генералами на басах разговаривать: «Будете горло драть, я вас сейчас приму! Как я его оформлю? Как он у меня будет проходить? Мне ж его на содержание ставить надо! Куда я его занесу?!» – и все в таком духе. Поорали они друг на друга, понервничали. Мы сидим на Каляева в машине, выходит Пильдин, как пес побитый, а злой, как собака. Можно было в дежурку сунуться, попросить, но дежурил Вакатимов, хороший «друг» Пильдина, терпеть его не мог, «волейбольным майором» называл, так что нечего

было и мечтать. Шофер-то не из оперативки, не дежурный, его тоже, как и нас, схватили по-быстрому, видит, такое дело, попросил нас покинуть... Мы покинули, что делать. Оказались вчетвером попросту на панели. Пильдин еще полчаса побегал, попытался кого-то найти, куда-то звонить, но – дробь!.. Что делать? На той стороне, за Невой Финляндский вокзал, на трамвае ехать с арестованным вроде неловко, потопали ногами через Литейный мост, 397 шагов, у меня меряно. Пильдин стал дежурному от транспортной милиции объяснять: поскольку снят задержанный с поезда Октябрьской дороги, а Финляндский вокзал тоже Октябрьской, он вроде обязан... А ушлый такой капитан попался, сразу понял, что-то тут не так, спрашивает: «Зачем же сюда вели, поместили бы на Литейном, и Кресты рядом, и на Лебедева...» По-человечески можно было бы договориться, а Пильдин в амбицию пошел: «Я не обязан отчитываться, товарищ *капитан!*» Напирает на капитана. А тот ему: «У меня здесь гостиницы нет и нет комнаты отдыха, товарищ *майор!*» Напирает на майора. Зачем это все, ведь уверен, можно было по хорошему договориться. Так нет, снова мы оказались на улице.

Дело к ночи, хоть ночь и белая, и довольно тепло, но как-то не по себе. Хоть домой веди! Только приведи такого, будешь потом всю жизнь объяснительные писать... У меня портфель арестованного, у Вальдемара чемодан. Хороший чемодан, с кожаными ремнями... Арестованный и Пильдин налегке. А кругом граждане гуляют, молодежь, песни то там, то сям, речные трамвайчики по Неве... А мы как псы бездомные.

Пошли, говорю, на улицу Скороходова в Петроградский райотдел милиции, как-никак я там перед войной поработать успел, может, по старой дружбе пойдут навстречу. Но навстречу не пошли. Здесь это было, на бывшей Большой Монетной милиция была в доме церковного причта лицейской церкви. Напротив райкома дом, этот самый. Там готовы были помочь искренне, но не смогли. Все осторожные такие, пугливые, трясутся за свою шкуру, а о деле в последнюю очередь. Видите ли, для нашего задержанного нужно отдельное помещение, нельзя же его в общую камеру, а у них в тот вечер все было забито, суббота... Думаю, связываться не хотели. А может, и еще что... Комитетчики вообще-то на милицию свысока поглядывали, сверху смотрели, ну и милиция тоже, бывало, любила посмотреть, как другой раз комитетчики кувыркаются...

Бредем по Кировскому проспекту почти бесцельно и вот у дома 14 натыкаемся на дворника, и так проспект вычищен и прибран, последние пустые трамваи в парк Блохина и в парк Скороходова подбираются, а тут дворник с метлой и совком – лошадка райпищеторговская оказию оставила, а он тут как тут, в белом фартуке такой, солидный. Мало дворников-мужиков после войны было, все больше бабы, а этот с таким видом, будто ни войны, ни революции... Пильдин – раз ему удостоверение: задержан опасный преступник, немедленно предоставить помещение для содержания до понедельника. Этот и вопросов задавать не стал. Пошли они тут же вместе управдома поднимать, подняли, он и открыл им красный уголок жэковский. Этот самый, где сейчас шариковые ручки заправляют. Только что стол красным покрыт, а так – одно название красный уголок: два стула, две обоймы по три откидных сиденья из какого-нибудь клуба, из украшений – лозунг коротенький, плакат о подписке на заем и портрет товарища Кагановича. Но главное – окно во всю стену и прямо на тротуар, и некуда укрыться, ни занавесок, ни штор.

И то рады, хоть крыша, наконец, над головой и есть на что присесть, уже ноги гудели.

Арестованный всю дорогу молчал, ни единого слова не проронил, только когда расположились, говорит: «Дайте мне портфель, я есть хочу». Достает оттуда котлетки домашние, бутербродики и бутылку коньяка... Так мы под покровом белой ночи, как товарищи по несчастью, эту бутылочку и раздавили...

Что за птица арестованный? Ерундовая, в сущности, история.

Был, оказывается, у него роман не роман, но какие-то печки-лавочки с дочкой одного... в общем, фамилию называть не буду. Папаше это не понравилось, женишок где-то что-то ляпнул

лишнее, дали ему как «язычнику» всего-то пять лет, и в Воркуту. При освобождении в сорок восьмом предупредили честно: появишься в Ленинграде, получишь еще пять. Ну, а этот схитрить хотел, билет себе организовал транзитный через Ленинград, так что вроде бы он и был в Ленинграде, и как бы не был. Списался с родней, чтобы она его на вокзале встретила-проводила, там между поездами три часа всего-то и было... Пока наши созванивались, ставили в известность, ждали решения, вот и получилось, что пришлось фактически поезд догонять, и ни тебе санкции на арест, ни ордера по-человечески выписать не смогли... Нехорошо, тут уж надо признаться. С другой стороны, билет у него был то ли в Пензу... нет, вру, в Инзу, под Саранск. Сам посуди, не оттуда же его потом на пересуд возвращать? Но, что плохо, то плохо... Кто не работает, тот не ошибается, были ошибки, были...

Да, сидим мы, словно на витрине выставленные, комната маленькая, спрятаться, укрыться некуда, окно огромное, чистое... Останавливаются парочки, смотрят... Прохожие хоть и редкие, а все-таки появляются, суббота, и погода хорошая, белые ночи, гуляет народ. Ну что в нас такого?! Четыре мужика, в конце-то концов, на столе закуска, картинка вроде бы самая обыкновенная, я заметил: сначала большинство смотрят, улыбаются, а потом быстро-быстро отходят, и по лицу будто мокрой тряпкой провели, улыбочка сходит. Он в штатском, мы в штатском, один дремлет, двое разговаривают, обыкновенное дело, а народ даже немножко шарахается. Или нервы у людей после войны в Ленинграде ни к черту стали? Пережил, конечно, народ много. В сорок восьмом году в городе еще пусто было...

Ладно. Этот в уборную запросился, задержанный. Имеет право. Я Пильдину говорю, здесь же рядом, на трамвайной остановке роскошный общественный гальюн, на углу Горького и Кировского.

Кстати сказать, гальюн знаменитый, оваянный легендой. Построен он был в виде виллы, с выкрутасами, с башенкой, со шпилями, кладочка узорчатая, черт знает что! Замок из немецкой сказки. А история, говорят, такая. На том месте, где мы сейчас сидим, был увеселительный сад, и принадлежал он хозяину Центрального рынка Александрову. Богат он был до невозможности, ну, если туберкулезную больницу со всем оборудованием городу подарил, на свои деньги, в порядке благотворительности, она и сейчас стоит, мы там флюорографию проходим... Да знаешь ты ее, красный дом, последний на проспекте перед мостом через Малую Невку. Считался Александров миллионщиком. Вот про него и рассказывали, что приударил он за одной высокогородной дамой, допустим, за баронессой! Та сначала ему хиханьки-хаханьки, надежду подавала, принимала, как говорится, ухаживания, а как до дела дошло – ни в какую! Уж не знаю, как он ее там добивался-уламывал, не купчишка лабазный, не в смазных сапогах, настоящий капиталист, манеры, автомобили, Европа!.. А та не дает, и все! Состоялся у них решительный разговор, она ему напрямую – мужик! Ты, говорит, мужик, а я – баронесса! И весь разговор! Ручку, пожалуйста, но только вот посюда, а дальше ни-ни... Утерся господин Александров. И что интересно, дамочка, говорят, не такая уж неприступная была и замужем бывала неоднократно, и от этого ему особенно обидно. Отомстил. Жила она в доме в начале проспекта, рядом с виттевским особняком, там дорогие квартиры были, а у нее окнами на угол Каменноостровского и Кронверкского по-тогдашнему. Обратился отвергнутый ухажер к городским властям: продолжай, дескать, заботиться о народном здоровье, могу соорудить в саду Народного дома общественный туалет типа сортир на свои деньги. Отцы города, так тогда горсовет назывался, с благодарностью принимают дар, предмет необходимый и место бойкое. А проект потряс роскошью – замок не замок, терем не терем... А был этот «замок» точной копией загородной виллы этой самой баронессы, неприступной для удачливых выходцев из простого народа. Вот и любуйся, как любой житель города пользуется твоим гостеприимством!

Ну, она, ясное дело, тут же съехала, квартиру поменяла, поселилась у Николаевского моста, мост лейтенанта Шмидта. А он и там гальюн под окнами! Правда, попроще. Она, бедная,

на другую сторону Васильевского шарахнулась, к Тучкову мосту, а он и там «виллу общего пользования» ей под окна...

К чему рассказываю?

Соловьев после войны в Ленинграде пропасть была. Даже в садике у Александринского театра имени Пушкина, это же прямо напротив елисейского магазина, на Невском! А здесь, в саду Нардома, для них просто был рай. И вода рядом – Кронверка и кусты...

Поют, перекликаются, красотища!

Ночью любой звук становится особенным, вес у него другой, чем днем, и оттого, что ночью звук редкость, задумываешься над ним, смысл в нем ищешь. Возьми воробья, ерундовая птица, днем они верещат, разве слушаешь, а вот под утро они такой концерт зададут... Я иногда с большим интересом слушаю, слушаю и задумываюсь над жизнью тех, у кого свой голос и коротенький, и не очень интересный, а вот как вместе сойдутся, как вместе заголосят, так и любого соловья забьют. Сила! Соловей тоже, я тебе скажу, птица не фасонистая: спинка с ржавчинкой, пестринка на груди, чуть волнистая, правда, будто рябь по воде от легкого ветерка, носик остренький, тельце веретенцем – вот и вся птица!.. Очень скромная птица, потому что цену себе знает. Большинство певцов ищут себе место повозвышенной, тот же скворец, он тебе на пенке или на изгороди никогда петь не будет, даже синица, иволгу возьми, на дерево взлетит да еще на самые норовит верхние ветки, а этот на кустике, на сучке каком-нибудь неприметном пристроится, а то и вовсе на пенке, а ему и не надо вверх, его и так и слушают, и слышат... А запоет – будто небо раздвигается, будто земля шире становится... Слышал я южного соловья, ну и что? У нашего северного голос литой, крепкий, чистый, а как щелчком пойдет, так словно гвоздики ледяные тебе в душу забивает, ей-богу, дыхание останавливается, будто это не в его груди, а в твоей, ночной прохладой переполненной, песня теснится и наружу рвется. Красота!

Да... А заведение это со шпилем и башенками только до часа работало, на ночь закрывалось, но мы подошли вовремя, начало второго уже было, старуха в клеенчатом таком фартуке уборку делала... Нас пустила, я документ показал, все культурно, честь честью...

А соловей для меня к этому времени был птицей особенной. Меня же в разные дела употребляли, хоронить тоже приходилось. Собственно, не то чтобы хоронить, закапывали по существу. Гробы?.. А зачем им гробы нужны? Вообще-то, не нужно вам этого знать. А закапывали не так чтобы далеко от города, сказать, так другой и не поверит, что, в общем-то, так близко.

Место, я тебе скажу, соловьиное.

Сначала идет взгорок с поселком, а потом просторнейшие поля, и упираются эти поля в грядку уже настоящих холмов, покрытых лесом. Место пустынное. На границе холмов и полей, в складке местности ручей, над ручьем тальник, ивняк, самое соловьиное место, лучше не придумаешь... Туда и выезжали. Работа не шумная, мы им не мешаем, они нам. Это я про соловьев говорю. Бывал я в этих местах и зимой, и осенью, и летом в дождичек, но первый раз, это я отлично помню, дело было именно в конце мая. Я высказал, между прочим, восхищение пением соловья, а Гесиозский, он тогда за старшего был, сказал, что лично ему приятней пение иволги. Иволга действительно здорово поет, ничего не скажешь, но есть в ее голосе что-то не то чтобы печальное, а будто жалуется она, залетела сама не знает куда, все ей вроде кругом чужое и грустное, и нет у нее других чувств, кроме печали да жалобы. Думаю, если тропическую птицу, певунью какую-нибудь к нам завезти да выпустить, так она приблизительно так и будет петь... жалостно. Мысли эти придержал при себе, не люблю перед начальством со своим мнением, да и не принято это было у нас. Так для себя решил: иволга – гость, а соловей – хозяин! Он у себя дома, ему ни плакать, ни жаловаться некому... Вот он – я! Все слышат?!

Что в соловье самое интересное? А? Никогда не знаешь, какое он следующее колечко вывернет, каким ключом пойдет... Стукнет с отсвистом, с оттягом, стукнет да вдруг словно сухие досочки просыпет: трам-та-та-там... тра-та-та-там... и сразу, без передыха, длинно так,

тонко-тонко, таким свистом, что прямо через сердце проходит... И тянет из тебя душу, и тянет... Жутко делается... Ночь как-никак... С одной стороны, пусто, с другой стороны – спят, а он душу из тебя вытягивает, вытягивает... И когда вконец замучает, бросит, да как грохнет, как раскатится, это уже всерьез... И пошел, и пошел! Жизнь – копейка! И с треском, и с посвистом, и с оттяжкой, и с надломом, и с горы, и в гору, и по кругу!.. Раз! И замолчал, собака... В самом неожиданном месте, гад, оборвет, чтобы тебя врасплох застать, словно сам решил послушать, бьется у тебя, к примеру, сердце или встало. И в молчании этом, в тишине между двумя выступлениями для меня самая жуть. Хорошо, если дальнего соловья услышишь, а то будто в дыру какую валишься... Какие только мысли в эту минуту в голову не приходят... Тишина мертвая. Лопаты шваркают, топор по корням пройдет, будто кости рубят, и слышно только, в ручье вода булькает, словно кто-то все время негромко горло полощет. И в тишине этой начинает казаться, что мы последние люди на земле: вернемся в город, а там никого, и вообще – никого, нигде, на всем белом свете, и дня не будет, будет только эта белая ночь без конца и тишина... Такие вот мысли залетали, особенно когда своих приходилось закапывать. По правилам не говорилось, разумеется, кто да что, не наше дело, но когда свои были, то обязательно так или иначе просачивалось. Были же и у нас нарушители, что греха таить, за то время, что я служил со всеми своими отъездами, состав у нас переменялся, и не один раз, в те времена высокая текучесть была, да и не только у нас, и в исполкоме, и в горкоме тоже. Возьми Гесиозского... Была у него присуха, зазноба как бы, знаменитая проститутка Дублицкая, гражданочка, ничем не опороченная, ни в чем таком не замеченная, она нам его и сдала. Он ее подружек прямо с улицы к себе таскал, арестом пугал, да еще дрался. Так что бытовые моменты его сильно компрометировали в нравственном отношении, я имею в виду, и в моральном. Похвастаться он перед ней раз захотел под пьяную руку, что награжден Звездой эмира Бухарского в 20-м году. И тут интересное совпадение произошло: квартирка Дублицкой была рядом с Карповкой, как раз в доме эмира Бухарского, вход через второй двор с колоннами. Так по совпадению больших и малых моментов сомкнулась для него цепь, под тяжестью которой он должен был погибнуть. И погиб.

Что еще хочу о соловьях сказать?

Он же и в дождь поет, и в туман. Не слышал соловья в тумане? Поет одна птица, понимаешь умом, что одна, а звук со всех сторон, кругом белым-бело, и не знаешь, может, ты уже и не на этом свете, может, это уже тебя самого закапывают... Кто там в раю поет? Соловьи или кто? Шучу.

Да, еще небольшой такой уж штришок к картине, маленький разговорчик в заведении с башенками и шпилем; там внутри сидячие места открытые спереди, перегородки только боковые, надевает арестованный штаны и вдруг говорит: «Да, в уединении есть неизъяснимая прелесть». Высказывание двусмысленное в его положении. Я насторожился. Самые неожиданные люди – это из одиночного заключения, вот уж от кого можно чего угодно ждать, да и сами они не очень-то отдают себе отчет, на что способны, что в следующую минуту выкинут. Этот вроде бы из зоны, но осторожность меня никогда не подводила.

Выходим. Я молчу. Тогда он говорит: «Постоим немного, пять лет соловьев не слышал». По инструкции, конечно, не полагается, но здесь я подумал, раздражать его не надо, лучше постоим немного...»

V

...1948 год. Звенит в ночной пустоте соловьиная трель над Кронверкской протокой, над парком Ленина, над площадью Революции, изготовившейся стать, огромным партерным сквером в самом центре города... Навалены груды земли, прорыты траншеи, что-то корчуют, что-то рассаживают, высятся пирамиды песка и гравия: то ли ищут на месте самой первой городской площади какие-то недостающие звенья для прочной и ясной исторической цепи, то ли опять закапывают что-то от глаз подальше...

Не осталось и следа от Троицкого собора, гремевшего своими колоколами славу Петровым победам, когда звонкая медь с иных, опустевших колоколен, перелитая в пушки, рвала с мясом и кровью эти победы из рук опрометчивых иноземцев. Отзвонили троицкие колокола и панихиду буйному нравом земному владыке, гнавшему кнутом и палкой врученный ему трусливыми боярами народ к какому-то одному ему ведомому счастью...

Гремят соловьи! Легкой, вольной трелью, веселым клекотом простукивают гранитные листы, глухие стены бастионов и куртин прославленной крепости, не сделавшей ни единого выстрела по врагу, но ставшей грозным оплотом власти в нескончаемой войне со своими неразумными подданными, и замирают и не рвутся эхом наружу соловьиные трели, остаются в сырых опустевших казематах, хранящих тайну неизъяснимой печали, предсмертной тоски и пытки одиночеством и тишиной.

...Редкая крепость в Европе может похвастать тем, что под ее стенами полегло сто тысяч человек, да не во время штурмов и осад, каковых за два с половиной века твердого стояния у моря не упомнит славная фортеция, а лишь за время постройки под непосредственным наблюдением и опекой главного досмотрщика над строительством и строителями, его величества государя императора Петра Алексеевича своею особою... Пятнадцать лет гнали сюда, волокли, свозили, вывозили рабочий люд со всех концов России, быстро исчерпав небогатые силы туземцев да неведомо каких пленных, если известно, что по сдаче Ниеншанца гарнизон был отправлен восвояси при оружии и с пулями во рту... Учиня Новый Амстердам на краю просторного отечества, запретил государь по всей империи возводить каменные строения, но быстрее, чем каналы, рылись ямы, куда сваливали отработанных строителей, быстрее, чем крепостные стены, росли холмы над костями рабов, пока правительство, удрученное не гибельностью места, не отсутствием жилья и пищи для своих трудолюбивых подданных, а лишь медленностью исполнения великих замыслов, не убедилось, что вольным подрядом и наймом работы будут исполнены удобнее, скорее и надежней...

Где еще! какая история может похвастать тем, что столица империи стала местом ссылки ее подданных!

Ехали скрепя сердце, не смея послушаться, тащились, прикусив язык, как пленники в собственном отечестве, торговцы, ремесленники, дворяне... Высылали изнутри России в столицу на житье людей всяких звании, ремесел и художеств, а в первую голову тех, кто имел завод, промысел или торги. Беглецов из столицы отлавливали и водворяли на место... Сохранилось имя и последнего сосланного в столицу, правда, уже по собственному капризу. За призыв к буйству и непокорству, за устройство забастовки на Николаевском морском заводе был отловлен властями и приговорен к ссылке токарь Скороходов Александр Касторыч, пожелавший, чтобы местом ссылки был Санкт-Петербург, только что, по причине ссоры с немцами, поименованный Петроградом. Затерялась в полицейских архивах историческая каблограмма петроградского генерал-полицмейстера, пославшего милостивейшее свое благоволение в ответ на запрос отчаявшегося в бессилии своего николаевского коллеги: «...одним негодяем больше, одним – меньше, пусть едет...» Дело было в суровую военную пору, в сентябре 1914 года.

Много торжеств, пиров, гуляний, праздников и побед сотрясали зыбкую почву Троицкой площади и первых двинувшихся от нее улиц, бойкое место, окруженное домами царских любимцев, пока не обрела она нынешнее свое гордое имя и не погрузилась в покой и тишину, изредка нарушаемую раскатами салюта с петропавловского пляжа или какими-нибудь озорниками, вроде тех, что вывесили, помнится, на ДOME политкаторжан четырехметровый деревянный черный крест, чем были приведены в трепет и волнение, дремавшие в непрестанной боевой готовности до тех пор войска внутреннего спокойствия со всеми своими минометами, пулеметами и безоткатной артиллерией... Много веселья пронеслось над низкой луговиной, много веселых звонов и криков ликования унеслось в поднебесье, а в землю вошла да в ней и осталась брызгавшая на палача, а с палача наземь обильная кровь колесованных, четвертованных, развешанных на столбах с железными прутьями, на кругах, ловко приспособленных для *выставки* четвертованных тел и милостиво обезглавленных с первого маха.

Гремели колокола по неделям на маскарадах и празднествах, гремела и барабанная дробь, заглушая вопли наглядно подвергнутых наказанию. Не здесь ли новая столица начала счет своим многим казням, одну из первых осветив геометрической строгостью замысла, положенного в жизненный принцип города? Справедливо и милосердно, по жребию, лишь четверо из двенадцати отловленных злоумышленников, запаливших с целью грабежа двухэтажные бревчатые лавки новенького Гостиного двора на берегу Кронверки, были подвергнуты развешиванию на четырех виселицах, тотчас же сноровисто и симметрично воздвигнутых по углам еще дымящегося пепелища...

А первым политическим узником Петропавловской крепости стал, как известно, цесаревич Алексей Петрович, сын императора Петра Великого, убитый по приговору Сената, утвержденному отцом после допросов с пытками. Вслед за ним под сень Петропавловского собора в последнее упокоение отправилась тетка, царевна Мария Алексеевна, сестра государя, почившая в Шлиссельбургской крепости, где пребывала в заточении за участие в делах царевича Алексея. Почин был сделан особами царской фамилии, поэтому торжественные церемонии и пышные похороны, стоившие немалых денег, были устроены как для задушенного царевича, так и для сиятельной тетки, по-видимому без посторонней помощи отдавшей свою мятежную душу богу. В беспокойстве от смут, не утихших со смертью цесаревича, пошел Петр Великий и далее направлять отечество по единственно верному пути: под видом государственных преступников были обезглавлены Лопухин Авраам Федорович, дядя цесаревича, близкий Алексею священник Яков Пустынник, отрубили зачем-то головы и гофмаршалу цесаревича, и камергеру, и дворецкому... Для какой-то эстетики отрубленные головы положили к телам под руку и по три дня выставляли для назидания и к сведению обывателей. На том не успокоились, отрезали потом у мертвых еще и руки, воздели на колеса, а головы возвысили на столбы. За умелость и мужество, проявленные в деле царевича Алексея, высоких правительственных наград удостоились и Толстой, и Румянцев, и Ушаков, разумеется. Прошло сто лет, за это время два года в крепостном пределе просуществовало даже столь мерзопакостное учреждение, как Тайная канцелярия. К семидесятым годам прошлого бурного века главную политическую тюрьму решили поставить на твердую ногу и оборудовали 72 одиночных камеры в Трубецком бастионе и 18 в Алексеевской рavelине, наивно полагая, что девятью десятками одиночных камер можно поддержать удовлетворительный порядок в столь обширном и густонаселенном государстве.

Горькая петербургская земля! как трудно всходят на твоей тощей и зыбкой почве семена благодетельства и доброты в попечении о благе примостившейся к тебе России. То ли неудобной для благих семян оказалась вязкая и холодная почва, то ли сами огородники не больно-то и радели о добрых всходах...

Забредший на русский престол путями всемирного бездорожья внук обоих враждующих государей, Петра I и Карла XII разом, предуготовленный к занятию шведского престола, ока-

зался на престоле русском и даже мог бы сохраниться в памяти благодарных потомков как государь, уничтоживший застенки и тайную канцелярию, ведь и указ подписал!.. Куда там! Претерпев преждевременную кончину от рук своих буйных подданных, не оплаканный ни августейшей фамилией, ни всем русским народом, процарствовав что-то с полгода, был немедленно забыт со всеми своими указами... Счастливо овдовевшая супруга его, государыня Екатерина II, пошла еще дальше, уничтожила пытку, правда, Александр I пытку еще раз уничтожил, да и позже отменяли ее не единожды... Вот с кнутом было непросто! Отмена кнута, как наиболее простого и убедительного средства поддержания порядка и нравственности, в 1817 году была поручена Тайному комитету под председательством самого графа Аракчеева. Отцы отечества долгие дни ломали головы над двумя каверзными вопросами: «Можно ли отменить кнут?» – и если – да, то «чем же его все-таки заменить?» Ломал пробитую при взятии Очакова голову князь Лобанов-Ростовский Дмитрий Иванович, генерал от инфантерии, пожалованный в министры юстиции и исповедовавший хорошо прижившийся закон: «девять забей, десятого – поставь»; ломал голову и приبلудный сын сестры графа Строганова Новосильцев Николай Николаевич, готовивший переворот 11 марта, что крайне сблизило его с государем и позволило прославиться устройением Тайной канцелярии в Царстве Польском; сказал свое слово и князь Голицын Александр Николаевич, придворный ветреник, известный своим веселым нравом и смелыми забавами, по странной случайности превратившийся в главу православия и министра духовных дел и прибравший под свое легкое крыло все народное просвещение для удобства гонений на университеты и насаждения свирепой цензуры; не хватило умственной и нравственной силы ни у графа Тормосова, ни у князя Цинцианова, ни у сенатора Плотникова, чтобы настоящим образом двинуть вопрос о кнутах. Правда, прогресс в устройстве внутренней стражи и организации этапов вскоре позволил отменить «рвание ноздрей», как меру предупредительную против побегов, «поставление же знаков», присовокуплявшееся к «торговой казни», то бишь кнутобойству, значительно пережило расправу с ноздрями. Таким образом, кнут, введенный Алексеем Михайловичем Тишайшим в ранг государственного инструмента Уложением 1649 года, не дотянув каких-то четырех лет до двухсотлетнего юбилея, был окончательно отменен лишь в 1845 году.

А последняя большая кровь пролилась на площади в январе 1905 памятного года, когда спешно переброшенные по новенькому, весьма кстати построенному красавцу мосту солдатики хорошо отхлестали пулями шедших за милостью к царю жителей Петроградской стороны и Выборгской...

Гремят соловьи над тихой Кронверкской протокой, над крутыми ее насыпными берегами, где в ста шагах от парадной площади еще не отыскано и не украшено обелиском с пятью профилями место злобной и неумелой казни, когда прелыми веревками было сдавлено горло пятерым безумцам, пожелавшим своему Отечеству иной судьбы, иного блага, нежели из рук одного владыки, хотя бы и помазанного на царство самим Господом богом!..

Бей, соловей, в глухие каменные стены, бей в мудреные крепостные ворота, бей в тюремный засов, замкнувший тысячи душ, одни от света земного, другие от света истины и добра! Бог даст, и от твоего свиста кто-то проснется, всколыхнется под тиной житейских забот, пробудится от серого сна чья-то душа в надежде сделать хотя бы только свою жизнь осмысленной, сильной и смелой, и устыдится своей немоты, своей робости, своей бесконечной охоты за мелкой выгодой— и сладкой болью отзовется на песню бесстрашной в неведении своей судьбы птицы, посланной в каменный город то ли нам в пример, то ли в укоризну...

Бей, соловей! Твоя ночь, твоя правда!..

VI

«...Вот я и говорю. Стоим мы с задержанным у сортира, чуть в сторонку отошли, как я уже сказал, слушаем соловьев. Что интересно, я в городе совершенно без страха их слушал.

«Не помню, чтобы до войны здесь так много соловьев было», – это я говорю.

А он говорит: «Кошек нет, вот и расплодились. Гнездо у соловья низкое, в городе первый враг у него – кошка».

Действительно, за войну кошек в городе почти не осталось, соловьям раздолье. Ну что за зверь кошка! Мало ей в городе крыс? Мышей мало? Нет, обязательно надо соловья сожрать!..

Не помню, как от кошек перешли к любви.

Чтобы не стоять дураком, говорю, что, в сущности, соловей очень небольшая птица, а вмещает в себя такое большое чувство любви и красиво его высказывает.

Арестованный говорит: «Предрассудки. Какая любовь, если у него через несколько дней дети будут. Это одно из устойчивых заблуждений считать соловьиною песню любовным призывом. Поразительное дело, птицы среди всех животных все время у нас на глазах, и слышим их и видим, а судим о них неверно. Вот и живут в корне неверные воззрения...»

Интересный пошел разговор.

Я, чтобы не раздражать его, спокойно спрашиваю: «Вы, кажется, сомневаетесь в том, что соловей поет о любви?»

Задержанный на меня смотрит искоса, будто не со мной и разговаривает: «Странно люди устроены – один красиво соврет, а другие повторяют, повторяют, повторяют, и уж не приведи бог своими мозгами пошевелить!.. При чем здесь любовь? Это – сторожевая песня. Песня-предупреждение: здесь мой дом! моя семья! мое гнездо! Не подходи, будешь иметь дело со мной! Это клич!..»

«Кошек тоже предупреждает? Кличет, как вы говорите».

Тут уж арестованный на меня прямо посмотрел, и стал он в эту минуту, я тебе так скажу, рыхлым и безвольным и отвечает, словно поперхнувшись: «И кошек...»

«Давайте, – говорю, – возвращаться, как бы нам обоим побег не вменили». Шучу.

Он – руки за спину и на три шага вперед. А я их понимаю...

Когда мы еще на проспект вышли из красного уголка, так он сразу руки за спину и вперед на три шага. А я себя на мысли ловлю, как... какую ему команду подать, чтобы он по-человечески шел. Есть команда: «Руки!» – они сразу понимают и берут руки за спину. Но здесь-то улица, не политизолятор. И прохожие из окон могут смотреть, из любого парадного выйти могут, не комендантский же час, в конце концов. А я нашелся! Только он со сложенными руками начал шагать, как я ему так, между прочим, бросаю: «Скромнее, гражданин, надо быть...» Он обернулся, не понимает. Вижу, действительно не понимает. «Не надо, – говорю, – к своей особе такое внимание привлекать. Руки, – говорю, – сделайте «вольно».

Это, я тебе скажу, происходило не только с ним, тут действительно худого умысла нет. Нам объясняли это дело научно, называется «реактивное состояние», когда в определенных ситуациях организм как бы уже без контроля мысли сам реагирует по привычке. Я же еще реабилитацию застал, оформлял им справки для пособия, выдавали тем, кто отсидел, по три оклада из расчета заработка на момент ареста... Нет, срок значения не имел, хоть десять, хоть пятнадцать. Не поверишь, заходит старик, профессором был, после реабилитации, задаешь какой-нибудь совершенно ерундовый вопрос: ну, место рождения?.. Он вскакивает и отвечает четко. «Сидите, – говоришь, – сидите». Улыбаешься. Он тоже улыбнется, а задашь следующий вопрос, ну, положим, прописка на день ареста, опять вскакивает и отвечает. Интересный такой старичок. За что посадили? Книжку написал о действиях английских командос, обобщил их опыт во второй мировой войне, ему и впаяли преклонение перед иностранщи-

ной, а заодно и контрреволюционную пропаганду и агитацию, опять же «58-десятая». Вот тебе и научная работа, опыт, видишь ли, хотел перенять, чтобы у нас распространить. Вскинул, как на пружинке, а ведь, судя по справкам, тяжело больной человек. Так и у этого, «кисти рук маленькие», все не нарочно, а по привычке. Идем по проспекту, чтобы ситуация выглядела естественно, решил о соловьях разговор продолжить. «Неосторожная, – говорю, – однако, птица соловей... Сидела бы потише, кормила бы детей, дом стерегла, может, и с кошками бы ужилась...» – «Двести лет уже в городе и соловьи и кошки. Не ужились, а живут, одни поют, другие мяукают, смотрят, где бы чем поживиться, одни летают, другие крадутся...» В общем, идем хорошо, со стороны поглядеть, так будто два приятеля, подзадержались где-то на дружеской вечеринке субботним вечером, на трамвай опоздали, зашли в галльон, теперь по улице идут, беседуют, культурно и в глаза не бросается...

На следующее утро в магазин сходили, подкупили того-сего, домой позвонили из автомата, жить можно. Рынок рядом, я на рынок за сетками ходил, самое мое любимое кушанье с детства – это сетки. У нас белозерские бывают и псковские, с Чудского озера. Лично я псковские сильнее люблю, хотя белозерские тоже очень хорошие. Белозерский сеток даже покрупней, понагулистей и цветом чуть-чуть отличается, на вкус я их и с закрытыми глазами различу, если соли, конечно, не переложено. Солью вообще можно любую рыбу убить... А в псковском сетке, грамотно подвяленном, не только вкус, в нем дух какой-то особенный, он еще и водой пахнет, чистой-чистой водой... Сеток – это не еда, это только деликатес. Семечки? Нет, брат! к сетку, конечно, пиво... и у пива тут особая задача и роль, оно нужно обязательно, чтобы можно было во все подробности этой крохотной рыбки войти. Вот для чего нужно пиво! Хороший сеток в пиве как бы раскрывается. Одно дело его насухо есть, и совсем другое – с пивом!.. Если сеток чуть подсох, то он как бы туманом из тончайшего соляного пара покрывается, это ничего, и пиво этот туман сразу снимает, мгновенно, а сольца эта пиву остроту придает, молодит его, так они друг в дружку и проникают... Да, тут еще такая вещь, долго держать во рту сетка нельзя... Если ты с воблой пиво пьешь, к примеру, тут кусочек рыбки в рот положил и цеди, тяни пиво... Со сетком этого допускать нельзя. Он требует, чтобы его чуть-чуть в пиве подержал, дал ему вздохнуть, и не тяни, пожуй чуть-чуть и глотай, как раз под второй глоток пива... А передержал сетка, и он уже не тот, он же нежный, размякнет и вкус теряет, уже не тот...

Со сетками повезло, псковских взял, а пиво тогда вообще не вопрос, три магазина рядом, а лучший в доме 26/28, где Киров жил, там внизу отличный гастрономчик, «рижского» взял, потом еще ходили добавлять... Хорошо. Как день пролетел, и не заметили.

Днем выводить тоже приходилось, и пиво надо принять во внимание... Водили днем вдвоем, в смысле сопровождения. Ясно уже было, что смиренный, но, как говорится, береженого бог бережет.

В понедельник с утра пораньше смотался Пильдин в управление, бумажки все оформил, машину подогнал, все честь по чести, сдали его в политизолятор, и больше я его, как говорится, наяву не видел.

Кстати, интересные вещи он рассказывал. Оказывается, птицы-то в гнездах не живут, гнездо у них только для выведения потомства, а дальше они уже на воле живут... Люди считают гнездо птичьим домом только потому, что смотрят на птицу как бы собственными глазами. В дождь или от опасности птица в гнездо не летит, на ночь тоже в гнездо не прячется. У птицы своя жизнь, своя повадка. Ничего ей этого не надо. А человек уж так устроен, если что-то не так как у него, значит неправильно. А она постель при себе носит, сунула клюв в перья и спит...

Я интересовался, откуда он все это знает? От сокамерника. Три месяца вместе баланду хлебали, большой знаток пернатых оказался!

Вообще-то я тоже довольно много образования получил на своей работе, каких только людей не повидал, страшно вспомнить.

Разный народ, удивительно разный... Всех и не упомнишь, а вот одного, он помер потом прямо в изоляторе, даже до Особого совещания не дотянул, сердце отказало, того запомнил, хотя всего и беседовал с ним два-три раза, не больше, шутишь, профессор из университета, мне давали, в общем-то, народ, как правило, попроще... Профессор интересный, ненавидел то ли нашу науку, то ли культуру, отсюда и враждебная нашему строю деятельность, причем и в письменном виде, и в устном, прямо, как говорится, с кафедры. У меня с ним разговор какой? Кто направлял? Чье задание выполнял? Сообщники? Где встречались? На что рассчитывали?.. С воли-то народ обычно немного огорошенный приходит, а этот как-то так не то чтобы с усмешечкой, но спокойно, будто не он мне, а я ему отвечать на вопросы должен. Прожженный оказался, он еще до войны успел посидеть, немного, правда, года три. Такой разговор. Я ему вопрос, а он мне: «Что это у тебя, братец, в голове ералаш такой?» Я его культурно попросил моей головы не касаться и отвечать на вопросы. Тогда он берет и произносит: «Лучше я вам расскажу о двух коровах, которые пришли в лавку и попросили фунт чаю». Ну, это дело знакомое, симуляция под сумасшедшего. Я ему спокойно отвечаю: «Под сумасшедшего решил работать?» Тот так рассмеется и говорит: «А вы не производили впечатление человека начитанного. Извините». Оказывается, я в самую точку попал, профессор этот был какой-то знаменитый знаток писателя Гоголя, и слова эти про коров и чай, как потом Казбек Иванович разъяснил, из произведения «Записки сумасшедшего». Я у Гоголя читал другие произведения, пошел, взял эти «Записки...», решил Казбека Ивановича проверить... Да! Ну и писали раньше! Что хотели, то и писали. Не нравятся Гоголю французы, он так и пишет: глупый народ французы, взял бы всех и перепорол розгами... Я еще понимаю, про своих так, еще куда ни шло, а французов-то вроде и неудобно... А самые интересные, содержательнейшие люди, от которых я больше всего впитал в смысле образования, это были отказчики. Были такие, кто с самого начала следствия шел в отказ: «Что докажете – мое, а на себя и на других говорить не буду...» Разъясняешь ему, разъясняешь самыми различными способами, что отказ от сотрудничества со следствием и непризнание вины – это уже недоверие к органам, а недоверие к органам – это уже позиция, враждебная социалистическому строю, вроде все ему долбишь, а он снова здорово!.. Наш нарком как говорил? «Каждый советский человек – сотрудник НКВД!» А раз ты не хочешь сотрудничать с НКВД, что из этого следует? То-то и оно, они об этом почему-то не задумывались...

...А ведь и формалистики у нас было до черта. Идешь на обыск, ну, нашел у него под матрасом наган или пистолет, думаешь, в протокол записывается «пистолет ТТ»? Ничего подобного. «Тульский, конструкции Токарева, длина ствола 116 мм, четыре нареза, в магазине 8 патронов, гильзы бутылочной формы, пули оболоченные...» Кому это нужно? А допросы? Это же формалистика чистейшей воды. Когда Особое совещание ввели, так и не читали эти протоколы, а на нас давили. Ты закон от 1 декабря 1934 года помнишь? Нет?! Отличный был закон, подписанный Калининским и Енукидзе. Был такой – Енукидзе. Кстати, у Калинина жена по этому закону на отсидку пошла, а у Енукидзе племянник. По этому закону все дела по всяким вылазкам против Советской власти и лучших ее представителей должны были разбираться в течение десяти дней, не больше. Обвинительное заключение выдавалось подсудимому за сутки до суда. А если трезво посмотреть, то зачем ему заключение, если на следующий день уже заседание Особого совещания. Приговор по закону от 1 декабря 1934 года приводится в исполнение немедленно, потому что обжалованию не подлежит, а кассации запрещены законом... Для чего, спрашивается, нужны эти допросы до одурения? Это хороший закон, он формальности здорово упростил, иначе даже трудно пред ставить, как бы мы такое количество дел переработали...

Но формализм – вещь живучая. Завели моду – ночные допросы! Даже не знаю, откуда к нам эта мода пришла, но так уж пошло, если ночью кого-нибудь не выдернул, вроде получается, плохо работаешь. С одной стороны, протоколы не больно и нужны, а на допросы, с другой

стороны, таскай... Я на ночные допросы как раз отказчиков вызывал, вроде бы самых трудных, а на самом деле для меня как отдых, потому, что известно – отказчик, если кому вдруг и захочется протокольчик посмотреть, пожалуйста, у меня чистая бумага с десятком вопросов... Комар носу не подточит. Только сидеть так ночью скучно, я с ними сразу устанавливал прямой и честный контакт, говорю: нам сидеть с тобой до пяти утра... То есть я буду сидеть, а ты стоять. Но если за хочешь сесть, пожалуйста, только что-нибудь рассказывай. Рассказывай что хочешь, можешь про свою жизнь, можешь про детство, про работу, про баб, про что угод но, книжки и кино интересные можешь рассказывать... Ни фамилий, ни адресов, ни дат – ничего не требую, и писать не буду. Редко кто соглашался ночь молча вы стоять. Знал же, что днем в камере спать не полагается. А так, слово за слово, одно-другое, глядишь, из Великой французской революции кое-что интересное по черпнешь, один стихи рассказывал всю ночь, сначала я слушал и смысл почти всегда улавливал, а потом уже устал и только удивлялся – как же это может человек в памяти такую прорву стихов держать. По горному делу интереснейшие лекции получил, по энергетике, и по электротехнике, и сетевое строительство, и тяговые подстанции, уж масляные выпрямители со ртутными никогда не спутаю, по гулу отличу, хотя ни тех, ни других в глаза не видел.

А возьми бухгалтерский учет... Интереснейшая вещь! Банковское дело, кредитное финансирование, чем Стройбанк от Промбанка отличается, картотеки, ссуды, пожалуйста...

Это я от Кондрикова почерпнул. Не помнишь? Ну что ты! Это же фигура! Киров нашел его где-то в новгородском банке и сделал своим уполномоченным по Кольскому полуострову. Кондриков гремел! «Князь Кольский!»... Смешно получилось, когда его брали... У него от Кандалакши до Мурманска были везде свои не то чтобы резиденции, а квартирки или домики, мотаться приходилось постоянно и в Апатитах, и в Мончегорске, и на Нивагэсе, и на Туломе... Был у него домишко какой-то прямо на станции в Зашейке. И бойкая там такая хозяйка была из финок. Дом всегда был в полном порядке и в полной готовности принять хозяина и, как правило, с гостями. Она прямо из окна видела, как поезд какой подойдет, хоть и товарный, не идет ли ее повелитель. Раз смотрит, поезд подошел из Кандалакши как раз, идет к дому Василий Иванович и с ним еще нас пять человек. Она мигом, времени три минуты, и стол накрыт! И семужка, и кумжа, и хариус, и грибки, и зубатка, как угадала, прямо из духовки... Дверь открывает, улыбается, лопочет что-то веселое по-своему... потом смотрит, на Кондрикове лица нет, мы молча по квартире расходимся, мы в форме тогда были, она все поняла и мигом – раз, тут же со стола убирать. Бандалетов из Кандалакшского НКВД говорит ей, чтобы не трогала, чтобы оставила... Она как на него залопотала, злая, как ведьма, все убрала, а Кондрикову водки стакан налила, и семги дала заесть... Вообще-то не положено, только, что тут сделаешь, случай все-таки особый, опять же женщина по-русски понимает, но очень слабо... Не помню уже, как он у нас шел, вроде по правотроцкистскому центру. Твердо держался мужик, в чистом виде отказник, ни одной фамилии за все время ни разу не назвал, а про банковское дело рассказывал здорово!

Ну, судостроение – это мой особый интерес, флотская молодость, с одной стороны, а с другой, все-таки понимал куда больше, чем в других предметах... Или медицина. Здесь сложней. Пока рассказывают, вроде все понимаю, а как сам потом попробую пересказать, хотя бы и дома, ничего не получается, сбиваюсь. Спросил у одного профессора – почему так. Говорит, нет изначальной подготовки, фундамента нет, анатомию и физиологию не знаю. Что ж, может быть, вполне может быть. Как у подсудимого череп устроен, этого я действительно и не знаю. Зато обратил внимание вот на что. Чем крупней специалист, тем понятней рассказывает. Я-то думал, что если уж профессор, то его понять трудновато будет, ничего подобного. Пытался мне раз объяснить один костолом из здравпункта деревообделочного завода, бывшего Мельцера, за Карповкой сразу, как у человека рука устроена. Очень у меня смутное представление осталось. А по том один из Института изучения мозга им. Бехтерева, из особняка вели-

кого князя на Петровской набережной, изумительно объяснил. Например, рука может быть совершенно здоровой, никаких повреждений, а если сигнал не проходит, то считай, что нет у тебя руки. Рука есть, подключена ко всем видам питания, кровь проходит нормально, с кровью получает все продукты обмена, продукты распада, шлаки все выносятся, а рука не работает только по одной причине, потому что от головного мозга нет сигнала. Смысла, оказывается, тогда в руке нет. А с виду здоровая... И как только перестает функционировать, так здоровая вполне рука начинает отсыхать, становится в организме как бы лишней, ненужной, и организм сам начинает ее снимать со всех видов довольствия... Рука что! Проходил у нас немец, Вормс фамилия, крупнейший гинеколог, проходил по «Сызранскому мосту», в группе, они взрыв готовили или не готовили, кто теперь знает, но тогда, перед войной, как раз проходил по «Сызранскому мосту». Надо было его в Саратов этапировать, там процесс был шумный, показательный, писали о нем в газетах. Мой гинеколог тогда пятнадцатью годами отделался. Получаю приказ – снять с него предварительные, а он в отказ. Бородка такая кругленькая у него была, коротко стриженная, очки вполстекла, как полумесяц, на спинку опрокинутый... Тоже ночью его выдернул. Я сижу. Он – стоит. Час простоял, второй пошел. Видит, что я его ни о чем не спрашиваю, а что-то пишу, тогда он меня спрашивает: что пишете? Я ему чисто-сердечно признаюсь: пишу письмо сестре, четыре месяца не писал, а у нее с мужем не очень-то хорошо и трое детей. Сестер у меня было шестеро до войны. Он начинает нервничать. Тогда я ему снова говорю: можешь сесть, этот вот стул для тебя, и рассказывать все что угодно. В общем, разговорились, я ему объяснил напрямую, почему его ночью выдернул, а он мне рассказал, как там у баб все устроено, в смысле женщин. Всю эту скрытую от мужского пола механику он мне за три допроса преподнес в лучшем виде. Я ж до этого, можно сказать, дикий был человек, мало чем отличался от животного... А в этом вопросе культура не последнее дело. Он мне доступно объяснил, что у них, у баб, возникает и чего ей надо... И что меня больше всего удивило, оказывается, у них все так же, как и у нас, только наоборот! Даже вообразить такое сначала не мог, а потом оказалось – факт!..

Я к женщине после этого, даже к жене своей, стал относиться с большим интересом и значительно осторожней, честное слово.

... Чем больше знаешь, тем жить интересней. В этом смысле моя работа много мне чего дала, а как подумаешь, что же от меня останется? Прожил жизнь рядом с теми, кто ушел неизвестно куда, и я с ними или за ними туда же уйду... Даже все мои обильные знания, может быть и несколько растрепанные, употребить некуда.

Многие смотрят на мир разными со мной глазами, это ничего, я к этому привык. Раньше больше было таких, кто одинаковыми глазами смотрел, теперь меньше. Может, так и надо?

Для чего на свет появился – догадываюсь. Для чего жизнь прожил, чему служил – знаю. А для чего мне оставшаяся жизнь дана? В награду? Но разве старость может быть наградой? Может быть, для того, чтобы я богатым своим опытом поделился с грядущими поколениями?

Наша служба привлекает не блеском формы, к нам народ шел не то чтобы талантливый, а усердный и внутренне крепкий. И не всякий мог нашу работу выдержать. Помню, за три года до начала войны послали меня с группой в Архангельск на усиление, большая там раскрутка шла, ну, и привлекали при арестах и обысках в качестве понятых актив из молодежи, тех, кого впоследствии можно было бы самих взять в органы. Был среди прочих у местных кадровиков на заметке комсомольский секретарь из архангельского драмтеатра. По профессии, правда, он актер, но явно с хорошей жилкой и с большой склонностью к организаторской работе. Все у него хорошо, на собраниях, на митингах выступал отлично, характеристики прекрасные, из беспризорников, вообще паренек перспективный. Держали его на примете, а тут как раз решили проверить, привлекли для первого раза понятым при аресте Серкачева, был такой начальник архангельского порта, седой такой дядька, в Архангельске человек знаменитый, партизанским движением там в свое время заправлял, и орден Ленина у него был чуть

ли не под седьмым номером. Приходим. Так и так, обыск, как полагается. Квартира большая, очень много книг, даже в коридоре полки. А самое канительное дело при обыске – это бумага, письма там, рукописи и книги. Барахло, вещи, это все перетряхнуть недолго, мебель сдвинул, повернул, простучал, это все пустяки. Отдушины там всякие, печки, заслонки тоже времени не забирают, но книги – всю душу вымотают, каждую сними, перелистай, потряси... В общем, все идет нормально, приступаем к книгам. Здесь же две его дочери, барышни, можно сказать, комсомольского вида, и жена. Вдруг этот дядька седой как зарывает, рыдает и ничего поделаться с собой не может, судорожно так рыдает. Девчонки тут же обе тоже в слезы, но эти тихонько в платочки уткнулись и ладно, а того прямо трясет. Партизан называется! Хочет к нему жена подойти, а нельзя, она может или передать что-нибудь, или может иметь место элемент сговора, в общем, нельзя. Смотрю я на нашего комсомольца, стоит, к косяку прислонился, вижу, лицо все время вверх задирает, будто у него кровь носом пошла, подошел поближе, а он, оказывается, ревет как белуга, только беззвучно. Такой боевой парень, и на тебе! Я его успокоил, поговорил по-человечески, вроде бы он успокоился, водички попил, утерся... Десять минут не прошло, и снова в слезы, да тут еще и с подвыванием каким-то... Нет, брат, видим, чекист из тебя ни рыба ни мясо. Иди-ка ты на хрен домой! Одно дело, знаешь, с трибуны да на собраниях громить и клеймить, это все умеют, а как выкорчевывать, тут надо и выдержку, и твердость, и, может быть, еще кое-что.

А на собраниях и митингах бывали случаи тоже самые неожиданные. Проходил у нас после войны уже один мужичок – и смех и грех! Занюханый такой мужичок, наружности никакой, вот такого росточка, усы как у хунвейбина, из молокан он, что ли, здоровался как-то чудно, войдет в помещение, хоть и к следователю, и с поклоном: «Здравствуйте, миряне!» А прозвище у него было «Тольятти». Откуда такое прозвище неожиданное, рассказываю. Было после войны злодейское покушение на вождя итальянских коммунистов товарища Пальмиро Тольятти. У нас прокатилась волна протестов и митингов... Сельская местность тоже была охвачена даже в пригородной зоне. Устроили такой митинг то ли в Антропшино, то ли в Сусанино, ты не смотри, что Ленинград близко, в часе езды, а там такие деревеньки есть, такие мызы да погосты, что народ попадает довольно ограниченный в смысле своего политического развития. А надо было, чтобы на митинге от разных слоев выступали, не только, скажем, партийные и комсомольцы, а вообще от народа. А какие в Антропшино слои? Какие в Сусанино слои? Такие слои, что можно было бы и не трогать. Нет, нашлась какая-то бойкая бабенка из исполкома, очень ей хотелось «от простого народа» выступление услышать. Услышала! Отловили этого мужичка, стали ему объяснять: «международная солидарность», «интернационализм», «преступная рука мирового империализма»... Все разъяснили. Выпихнули его на трибуну, что он там говорил, никто, разумеется, не помнит, только в конце как ахнул: «Да здравствует товарищ Троцкий, товарищ Ворошилов, товарищи Бухарин и Сталин!» Вот тебе и раз! Всех, кого помнил, и бухнул. Он, может, и газеты в руках не держал двадцать лет... Дела. Что не со зла, это понятно, он даже не знал, что двоих уже и в живых не было... От этого не проще, кому-то отвечать все равно надо, на митинге, хоть и в Антропшино, нельзя кричать здравицы злейшим врагам и убийцам. Кончился митинг уже кой-как, друг на друга не смотрят люди, думают об одном – кто первый доложит, тот еще может открутиться. Стали этому типу объяснять, кто такие Троцкий да Бухарин и что они уже давно понесли заслуженную кару... «Не ведал, миряне, не ведал...» Не ведал! «Лукавый попутал, господь не уберет...» Как ни крути, а выходит, им самим надо голову подставлять или этого «мирянина» привлекать... Дали ему по минимуму за контрреволюционную агитацию десять лет. Спрашивают: «Приговор понятен?» А он свое: «Вся скверна с языков сходит, казни меня, судия праведный! Не суесловь! Беги соблазна...» Так с прозвищем на отсидку и пошел.

По агитации вообще самое легкое было загреметь. Проходил у нас по следствию один инженер, был на него сигнал, что во время командировки в Финляндию, – ездил какое-то обо-

рудование для Балтийского завода получать – встречался там с двоюродным братом. Родственника этого он в анкете не указал, иначе подумали бы еще, выпускать или не выпускать. Сигнал был верный, а кроме сигнала ничего нет. А он уперся и ни в какую: не был, не видел, не знаю... А раз так, тут уж надо докопаться. Я его приводил несколько раз к старшему следователю Секирову, одна фамилия уже производила впечатление, отличный такой мужик, прожженный человек, прямой, без всяких там хитростей, говорит ему ясно: «Подпишешь, не подпишешь: сидеть ты все равно будешь... Ну, назови хоть одну фамилию, кто отсюда выходил без срока? Назови! У тебя есть такие знакомые?..» Тот говорит, что таких знакомых у него нет. «Так ты-то, мать-перемать, чем их лучше? Неужели у тебя не хватает ума не мучить меня? Я тебя выпущу – это же брак в моей работе, не понял? А то, что ты враг, это у тебя на роже написано. И сидеть ты будешь!» И тут Секирову случай помог. Просыпается как-то утром этот инженер у себя в камере и сон рассказывает: приснилось ему, что он ходит по Финляндии без конвоя, что-то еще про магазины приснилось... А в камере у него «наседка» была. Тут же все это оформили как контрреволюционную агитацию, и поехал он лес валить на законных основаниях...

Говорят, интеллигенция вежливая. С одной стороны, доля правды в этом есть, а с другой, как посмотреть. Уголовный контингент, как я заметил, и внимательней, и стремится найти общий язык. А эти – нет. Вот с «женихом», «руки маленькие», сколько возни было, я лично сколько раз выводил его и позволял немножко, тех же соловьев слушали, разве он спасибо сказал?

Или другой пример.

Мало кто знает, есть такая за Московским вокзалом, за товарной станцией Константиноградская улица или переулок, а напротив, через дорогу, буквально пятнадцать метров пройти, дровяной склад Московского райжилуправления. Лежат там напиленные, нарубленные дрова, лежат годами, десятилетиями не менялись, почернели, посерели, потому что никто ими не пользуется, лежат они для отвода глаз. На дровяной двор есть железнодорожная ветка, подавали туда ночью вагоны, только не дрова привозили и не дрова вывозили. На Константиноградской была пересыльная тюрьма, даже не пересыльная, а такой как бы перевалочный пункт, днем ее заполняют, а ночью быстренько перегоняют через улицу на дровяной склад партию и грузят, потом уже в запломбированных красных вагонах отправляют на сортировочную станцию... Но, главное, это доставить контингент на Константиноградскую. Доставляли на «воронках», трехтоночка, сзади дверь, железом обитая, сверху два отдушники, а сразу за входом, слева и справа, два шкафчика, стаканчики, считай для особо опасных и приговоренных к смерти. Ну, сколько за раз можно народу в одну машину взять? Ну, двадцать человек, ну, двадцать пять, если плотно, а случалось и по шестьдесят грузить. Раз вывели во двор партию перед погрузкой, смотрю – женщина пожилая, но очень красивая, лицо как у царицы, по виду крайне интеллигентная. Дело было в феврале, в конце месяца, день солнечный, и все таяло. Эх, думаю, хоть и недалняя дорога, с полчаса, да как же тебя, «царица», довезут, если как раз после предыдущего рейса я машину осматривал, нашел фляжку алюминиевую в таком виде, будто черт на ней плясал, пожевал потом и выплюнул. Беру эту женщину первой, веду к машине, помогаю подняться и помещаю в «собачник», ну, в шкафчик этот, с тем, чтобы не задавили в давке... Как она заголосит! Как стала стучать, кричать что-то такое, хоть прямо на пересуд. Ладно, думаю, еще спасибо скажешь. Начинаем загрузку. Тут, как всегда, брань, крики, стоны, нецензурные выражения, как-никак человека на человека приходилось иногда напихивать, и так под самую крышу. А они не знают, что дорога недалняя, что можно и потерпеть... Тоже, доложу тебе, работенка... Я машину сопровождал, так и разгружал на Константиноградской. Извлек я эту даму последней. Бледная, ни кровинки, воздух глотает, на меня не смотрит, вернее, смотрит, но вроде и не узнает... Думаешь, спасибо услышал? Нет, не дождался. А с виду женщина интеллигентнейшая...

Уголовник никогда себя так не поведет, он даже малейшее внимание ценит: «гражданин начальник, спасибо», «гражданин начальник, большое спасибо...» – и при любых обстоятельствах чем-нибудь да отблагодарит. Вообще-то у них в зоне все есть, буквально все... И денег полно, и водка... Был у нас на одном лагпункте такой случай. Стали пьяные появляться. Досмотр такой, что макового зернышка не пронести, а пьяные ходят, и все тут. До чего додумались!.. Воду в зону возили на лошади, чтобы в бочки чего-нибудь не сунули, то сразу же переливали в емкости в бараках в присутствии товарищей из охраны. И сани осмотрены, извозчик до винтика на твоих глазах и разобран и собран... Стали уже на своих думать, что кто-то из наших за хорошие деньги, а денег у них в зоне много, приторговывает. Ну, когда между своими доверия нет, сам знаешь, какая работа... И вот раз, только сами в зону, только за КПП остановились, вырвалась у одного проводника конвойная собачка. Что-то он ей там перестегивал, с ошейником возился, в общем, вырвалась и сразу на этого возницу. Он уздечку выпустил, бросился на землю, на снег значит, и голову руками прикрыл. Мужик опытный. А лошадь-то не понимает, что песик ее не тронет, и ну на дыбы!.. Тут из-под гривы у нее две бутылки и выкатились. Связывали они по две бутылки, через холку перекидывали и в гриву прятали. Представляешь?! Ну, этого «архимеда» собачка хорошо потаскала... Думаешь, история кончилась? Нисколько. Прошел месяц, чуть больше, опять пьяные в зоне. Лошадь эту уже только что не побрили, хвост чуть не под самую репицу подрезали... А удалось вскрыть только агентурно. Оказывается, запихивали они коняге как раз под репицу, прямо внутрь и бутылку и две, потом на конюшне живот ей как-то там массировали, и она им эти бутылочки отстреливала...

Что еще хочу сказать про интеллигенцию?

Народ в большинстве своем неосторожный и поэтому опасный. И в газетах, и в книгах, и по радио говорят – в какое время живем! какое у нас окружение, как внутренние враги только и ждут, где бы мы свою слабость обнаружили. Ни на минуту нельзя было терять ни чувства ответственности, ни осторожность. И ко всем счет был один. Вот тебе, пожалуйста, маршал авиации Ворожейка, боевой генерал, войну прошел, а после войны получил 25 лет, и жене его Александре Александровне тоже 25 лет впаляли. За что? Дело было после войны, умер кто-то из очень больших людей, очень, ну и похороны, как полагается, торжественно, скорбно, с высокими почестями... А Ворожейка возьми и скажи: «Это, – говорит, – что, вот когда Сталин умрет, вот это будут похороны!» Все. Хоть десять раз маршалом будь, а за такие слова никто тебя по головке не погладит. Никто в бога не верит, рано или поздно мог, конечно, и товарищ Сталин умереть, но зачем говорить об этом, да еще при людях? Нет, ты мне ответь, мог он от этого высказывания воздержаться? Мог или нет? Я это специально спрашиваю, а то любят теперь вину на других сваливать, кто-то там виноват... Да никто не виноват! Кто тебя за язык тянул? Для тех, кто любил товарища Сталина и не мыслил себе жизни без него, а это был весь наш народ, такое высказывание было оскорбительным, и отвечать за него надо было по всей строгости. Кого тут винить? Да, но маршал как-никак, и обошлись с ним по справедливости, буквально, как только умер товарищ Сталин, чуть не на следующий день его выпустили. Три года только и отсидел, это из двадцати пяти! Я тебе таких примеров, когда люди сами виноваты, сколько хочешь, могу привести. И далеко ходить не надо. Вон видишь, наискосок особняк графа Витте, премьер-министром был при царе, министром финансов. Говорят, это он винную монополию в России ввел, до него кто хотел, тот и гнал, и для себя, и на продажу. Но речь о другом. Был в его особняке устроен Институт охраны здоровья детей и подростков, а во время выборов, естественно, агитпункт. И вот комендант этого особняка увидел, как к резной, грушевого дерева двери, чуть ли не лаком покрытой, прибили гвоздиками фанерку – «Избирательный участок по выборам народных судей и народных заседателей», номер и т. д. Увидел это дело комендант и в истерику: «Какой дурак повесил?! Убрать немедленно!» Сам же дощечку эту фанерную и сорвал. А зав. избирательным участком был очень серьезный товарищ из профсоюза. И пришлось коменданту отвечать сразу по двум статьям: и за клевету на

советские профсоюзы, и за попытку сорвать избирательную кампанию по выборам народных судей и народных заседателей.

Была с Витте еще одна история, в фармакологическом институте, аптекарей готовят. Не помню, с пятого или с четвертого курса паренек, бледненький такой и вида жидковатого, прочитал два тома воспоминаний Витте... Три тома, говоришь? Он два прочитал, третий том не фигурировал. И вот под впечатлением от прочитанного стал он хорошо отзываться о Витте, а время было суровое, 50-й год. Обвинили его в пропаганде монархических идей. Так он еще спорить стал. На Витте покушение в этом самом доме было произведено, бомбу ему в трубу дымовую бросили, так обвиняемый пытался доказать, что покушение провела как раз монархическая организация «Союз русского народа», за то, что Витте был за ограничение царской власти. Следователь спокойно так ему говорит: поподробней о Витте расскажите. Тот рассказывает, как Витте Великий сибирский железнодорожный путь построил, привел для сравнения цифры по Турксибу, и ввернул – 85 процентов действующих сегодня железных дорог построено при царе. Следователь рассказ этот записал, дал прочесть, попросил расписаться... тот и расписался под своим приговором. «Если при царе так много железных дорог построено, то, значит, самодержавие лучше социализма?» А это уже агитация, это уже пропаганда. Ну и что из того, что факт? Факт сам по себе ничего не значит. Важно, в чьих он руках и какому делу служит. Если бы этот факт служил укреплению социализма, мы бы его нашли в трудах товарища Сталина, в речах товарища Кагановича, других вождей, а так получается, что это факт из арсенала наших врагов, явных и скрытых. Есть факты, а есть «фактики»... Это тебе только по одному особняку графа Витте пройти, так историй не на один вечер хватит, а если про Дом политкаторжан вспомнить? Кто-то из наших прикинул, что из 142 квартир были выявлены и обезврежены 134... Сам помню, как за ночь по пять машин на этот дом в наряд выходило... «Эмочки», легковые...»

VII

Низменное положение бывшей столицы империи лишает жаждущих сполна и разом лицезреть ее грандиозность и великолепие той удобной и возвышенной точки, на какую наравне с Парижем и Москвой и Санкт-Петербургом с полным основанием мог бы рассчитывать. Приспособленный к обозрению как бы снизу город стремится подавить созерцателя не столько необычайной высотой шпилей и вознесенных к небу громадных куполов, не столько обилием и величием колонн, тесанных из цельного камня, литых из меди и чугуна, сложенных из мрамора, гранита, мягкого пудожского камня или какого-нибудь диковинного афганского лазурита, и даже не звоном медных колесниц в подоблачной выси, способным остановить дыхание у зазевавшегося путника...

...Летят над городом кони, лишь на мгновение касаясь невесомыми копытами величественных арок над темными площадями или фронтона Мельпоменова храма, чтобы оттолкнуться от поднятых в поднебесье камней и продолжить свой вечный полет...

Не зря расставлены по городу кони, смиренные державными всадниками или замершие в сильных руках нагих атлетов, не смущенных ни морозом, ни дождем, ни ветром. Взнузданные, укрощенные кони на мосту, некогда стоявшем на границе города, – приветный знак входящему в столицу из Архангельских, Вологодских и Ярославских краев!..

Много красот и символов собрала столица под своим тусклым небом...

Нет, сердце истинного знатока и ценителя прекрасного и в иных городах, и в иных далях найдет немало колонн, немало парящих в недосыгаемой вышине ангелов. Арки, шпили, дворцы, соборы щедро изукрасили множество горделивых столиц, только где еще, кроме разве что тысячелетнего Рима, вы окажетесь в плену удивительных по тонкости замысла и верности исполнения каменных ассамблей, составленных из причудливых сочетаний пышных дворцов, безбрежных площадей, бесчисленных мостов, обелисков, скверов, искусно соединенных разнородных зданий и зданий, сходных как близнецы, зеркально отражающих друг друга по разные стороны одной улицы...

Тем удивительней и загадочней, что в самом сердце города, бывшем и пуповиной его, и первым рынком, и первым портом в изначальные годы, образовалось пустынное пространство, унылое, как безлюдная сцена с недостроенной декорацией, именуемое площадью Революции. Устроенный на площади необъятный сквер не притягивает горожан ни обилием света, ни чистым ветром, свободно летящим сюда с Невы, ни простором, ни уединением... Одной стороной площадь выходит прямо на набережную перед огромным мостом, в семь прыжков перекрывающим Неву в самой широкой ее части, с двух других сторон обегает площадь летящие с крутизны моста трамваи, и лишь четвертой стороной ложится площадь к подножию двух огромных зданий, вытянутых в одну линию, как бы продолжающих друг друга и в замысле как бы предумышленных к соединению, да вот уже тридцать с лишним лет так и оставшихся разъединенными проемом, ничем не заполненным.

Обращенные фасадом к площади два исполинских здания символизируют собой разноглазие двух эпох, а равно и паралич административной воли, решимости в приведении их к единству: весь открытый ветру и свету, из прямых линий и строгих плоскостей, отринув мишуру украшений, не обремененный подробностями, геометрически ясный фасад Дома политкаторжан, как ласточкиными гнездами, облеплен балконами на верхних этажах, а на этажах пониже слиты балконы в трибуны-террасы, будто знал рисовальщик, как станут тосковать обитатели этого дома в замкнутом пространстве своего заслуженного мукой и каторгой жилища без сознания возможности в любую минуту шагнуть на балкон и бросить в толпящийся внизу, жаждущий света и правды народ живое, яростное слово, зовущее на борьбу, на подвиг, на самопожертвование... Иное дело дом рядом, как указано в новейших путеводите-

лях, – «Дом повышенной монументальности», замысленный и осуществленный где-то в середине истекающего столетия. Изукрасив фасад великим множеством псевдогреческих колонн, выстроенных в два ряда, и даже поставив один ряд над другим, смелый мастер бросил вызов древним умельцам, способным соорудить, к примеру, один Парфенон, но водрузить его на второй такой же уже неспособным. На подновленном языке древних греков торжество новейшей эпохи провозглашает величественный портик из множества колонн – предполагавшийся центр так и не приведенных к единству разноликих зданий, вознесенный на громадный и по своему тоже величественный параллелепипед, украшенный пилястрами, карнизами, архитравами, окнами полуциркульными и привычно прямоугольными, но в духе повышенной монументальности, вместо переплета использующими довольно красивые такие колонны, метра по два высотой, с простыми капителями. А вот фронтона у портика нет, вернее есть, но неожиданно скромный, плоский, в форме новенькой бескозырки, каковую вы получаете от старшины со склада и лишь начинаете, вертя в руках, размышлять, где и что следует приподнять, а что опустить, чтобы линия, облегающая белым кантом по краю, оставляла по себе впечатление приподнявшейся и замершей на голове волны... А может быть, этот плоский пустынный фронтон напомнит кому-то бритую голову новобранца?.. А может, он всего лишь арена, на которую так и не вышли наши гипсовые современники, неся в руках знаки гражданской и боевой доблести? Несметные числом колонны, покрывающие фасад дома, отделяют один от другого крошечные полубалкончики, на которые при желании и двумя ногами не ступишь, а до соседа, отгороженного величавыми выпуклостями, не докричишься и при пожаре. Впрочем, жильцам «дома повышенной монументальности» и нравы полагается иметь монументальные, исключая порывистые поступки, быть может, и дозволенные для некоторых лиц в настоящем, но предосудительные с точки зрения будущего. Эпоха монументальности кончилась прежде, чем Дом политкаторжан в соответствии с монументальностью замысла должен был утратить свое исконное лицо и стать симметричным отражением левой части сооружения, упирающегося еще двадцатью восьмью колоннами в бывшую Большую Дворянскую улицу, ставшую в пору строительства дома для политкаторжан проспектом Крестьянской Бедноты, а в пору строительства «Дома повышенной монументальности» переименованную в улицу Куйбышева Валериана Владимировича.

Так и остались эти два дома стоять рядом, да не вместе, поскольку торцовая сторона дома для политкаторжан обращена к своему монументальному соседу некоторого рода округлостью, каковую легко принять за сжатый семипальный кулак, или по числу этажей за семиярусную боевую рубку какого-нибудь бронепалубного крейсера времен Октябрьской революции...

В портике, вознесенном над площадью, причем, как и в кубе, на котором он покоится, разместился проектировочный институт, не сумевший довести до ума свои собственные хоромы и теперь рассылающий в ближние и дальние края чертежи для дальнейшего устройства незанятых еще или уже очищенных от старых построек мест...

Как это случилось, что площадь в центре города, прославленного гармоническими ансамблями строений, оказалась ареной столь наглядной двусмысленности?

Впрочем, давно пора оставить опасную привычку задавать вопросы истории, если ответ, того гляди, придется держать самому.

Видно, на роду было написано этой низменной плоской земле, затоплявшейся в каждое порядочное наводнение и служившей боевым предпольем грозной Петропавловской крепости, быть обширной ареной исторических причуд.

Только никто за полтора десятка лет так и не собрался атаковать грозную крепость ни с моря, ни тем более с суши, но государство, особенно твердое в неукоснительном исполнении бессмысленных предписаний, бережно сохраняло от обустройства и заселения гласис крепости, обширное и пустынное пространство на подступах к рвам, окружавшим Кронверк с Петербургской стороны. Центр города давно уже перекочевал за реку, в Адмиралтейскую часть, и жители

успели прозвать опустевшее и продуваемое ветрами место Сахарой, а государь, чья дорога на излюбленные Елагины острова лежала сквозь означенную пустыню, никак не мог охватить ее своим государственным умом. Зато когда монарший взор в середине прошлого столетия то ли провидением, то ли кем из близких, кативших с государем в несчетный раз сквозь пыль и запустенье, был обращен на крепостное предполье, давным-давно утратившее свой фортификационный смысл, государь тут же высочайше повелел об устройстве на всем гигантском пустыре парка. Монаршие распоряжения исполнялись в ту пору резво и точно, был порядок при Николае I! И уже через год по шоссированным аллеям парка прогуливались и прокатывались самые именитые и достойные граждане; первое время даже по преимуществу аристократия. Но вскоре порядочные люди как-то отвернулись и уступили это место под тюремными стенами усердно посещавшему парк народу.

За трамвайными путями, убежав с площади, спрятался за деревьями и высокими кустами сирени причудливый, как дорогая игрушка, исполненный в самом модном для начала века стиле особняк любимой балерины великого князя. Сам же великий князь, поддерживая тесные узы не только с Терпсихорой, но и с Евтерпой, почти обессмертил свое имя, подарив простому люду замечательную песню «Умер, бедняга, в больнице военной...» и оставив людям более тонкого вкуса и чувств романс «Растворил я окно...». Его помпезный особняк, последнее в столице строение триста лет царствовавшей фамилии, по праву занят Институтом по изучению мозга и прячется за домами политкаторжан, неподалеку от заключенной в кирпичный футляр избушки основателя города и в семи минутах неторопливой ходьбы до особняка известной балерины...

Другой угол площади упирается в парк, где за прозрачными кулисами высоких деревьев едва виднеется памятная всем арена, где белой ночью, под утро 13 июля была сыграна без зрителей одна из самых знаменитых трагедий, потрясшая души современников и погрузившая отечество на многие годы в молчаливое оцепенение.

Могучая как крепость кирпичная подкова заняла нынче Кронверкский плац, где в соответствии с вдохновенно сочиненной и предписанной к исполнению самим государем процедурой были подвергнуты гражданской казни и шельмованию 97 офицеров, дерзнувших усомниться в том, что цари поставляются от бога, и возжелавших сообщить незыблемый смысл словам «законность» и «справедливость». Изможденные полугодовым заточением, страшно изменившиеся, но без трепета и даже с торжеством шли они к своей судьбе в виду осевших и полуобвалившихся земляных валов, так никогда и не понадобившихся полубастионов, на которых теперь заканчивалось строительство помоста с двумя столбами и перекладиной для пятерых, милосердно избавленных государем от четвертования, как того требовало Особое совещание, и приговоренных только лишь к повешению. Они видели, как какой-то молодец, ухватившись за петлю почти готовой виселицы, повис, пробуя крепость веревки, с которой всего через час после казни снимут облаченных при жизни в белые саваны покойников, а придушенная Россия будет болтаться еще невесть сколько... Государь, открывая новую эпоху в истории мелочного деспотизма, чувствуя себя наследником и продолжателем не знавшего мелочей Петра, не только начертал план расположения войск во время казни, но и предписал: кого и когда выводить, кому за кем идти, поскольку конвойных на преступника определить, кому приговор читать да сколько колен похода бить для вящей строгости, когда все уже будут на местах...

Дымилась костры, готовые принять и обратить в пепел покрытые славой мундиры героев, спасших отечество от иноземного посягательства да не сумевших уберечь от доморощенного тирана...

В этот утренний час не было зрителей у этой, быть может, самой пышной из всех казней, что знала и помнила Троицкая площадь и ее окрестности. Лишь богопомазанный устроитель

зверского спектакля не спал в Царском Селе, получая каждые полчаса от запаренных скачкой гонцов сведения о том, как идет премьера...

VIII

«...исполнителя я только в Новгороде видел, вечно пьяный ходил...»

IX

Издrevле в память о пролитой крови, в память о подвиге человеческого духа, презревшего деспотизм частной жизни, ставил народ кресты, часовни, храмы...

Вот и здесь, между бывшим Кронверкским плацем и площадью Революции, тогда все еще Троицкой, в 1906 году, надо думать, по недосмотру лиц, призванных сберечь душевный покой самодержавных правителей, поднялся храм, храм милосердия, госпиталь, геометрическим рисунком двух своих корпусов повторивший расположение выстроенных в два каре армейских и гвардейских офицеров, приговоренных к ссылке и каторге.

Притупилось недреманное око и духовных пастырей, если с высокой стены госпиталя смотрит на нас Владимирская богоматерь, смотрит карими глазами княгини Волконской, по прихоти юного Кузьмы из Хвалынска, отринувшего тысячелетний византийский канон, предписывавший светлоокой изображать заступницу за род человеческий.

Смотрит Владимирская богоматерь в умилении сердца, укрытая копотью и пылью от глаз борзых холопов, готовых свою безмозглую преданность чему угодно и кому угодно, свой единственный капитал, поддержать и приумножить доносом и на саму Богородицу...

X

«...Из всех арестов, обысков мало что запомнилось. Думаешь, это все неповторимые картины... Ничего подобного, все одинаково. Берешь управхоза, дворника, они же проходят как понятия, пошлешь узнать, дома ли представляющий интерес гражданин или гражданочка, потом уже с этим же управхозом идешь, на него люди открывают спокойней, хоть и ночь... Были, конечно, и неприятные случаи, стрелялись люди. Звоним: «Откройте!» – а там выстрел. С одной стороны, конечно, брак в работе, а если с другой посмотреть... Ну, был бы он ни в чем не виноват, зачем стреляться? Ко мне постучись хоть ночью, хоть утром, я же не буду стреляться, и ты не будешь... В коммунальных квартирах работать было трудней, особенно в больших; приходим, а нужного человека нет. Что делать? Звонит старший дежурному по управлению, по оперативной связи, так и так... А что тот может сказать, войди в его, дежурного, положение! Только одно и гавкнет: «Вляпались, вот и сидите, ждите!» Это уже называется – засада. Один раз мы так в засаде два дня просидели, а дельце-то чепуховое, библиотекаршу какую-то брали. Тогда порядок был какой? По всем библиотекам рассылают списки: такие-то и такие-то книги или таких-то писателей из обращения убрать, изъять, сдать по акту или уничтожить. Срок давали – 24 часа, потом добавили, но больше 72 часов, то есть трех суток, все равно не давали. Трое суток – куда ж больше-то! То, что на полках стоит, это просто, сняли и ликвидировали, а то, что на руках, что выдано?.. Тут, конечно, побегать надо. Вот и бегали, как зайцы, иногда за одну ночь нужно было множество людей обежать и все собрать. А народ какой? Он взял книжку в библиотеке и поехал с ней в отпуск или в командировку, в вагончике чтобы не скучать. На дачу летом с собой тоже библиотечные книги вывозят... А то, бывало, и в больнице человек, а книга у него дома. Так надо было его в больнице найти, разыскать, умолить, чтобы ключ дал да объяснил, где искать... Один даст, а другой еще подумает... Если срок установленный прошел, а книги, внесенные в список, не заактивированы, то привлекали библиотечных работников строго. Вот мы такую заведующую и ждали два дня, она моталась куда-то на Сиверскую или в Вырицу, пыталась найти какие-то журналы, а мы сидели в засаде и ждали. Тоска зеленая. Чтобы ты понял трудность положения, я тебе скажу, что по натуре я человек общительный и незлой. Я делал все культурно, вежливо, никогда ничего себе не позволял, я знаю, может, другие и вели себя недостойно, но это другие... Так вот общение у нас, у сотрудников, между собой как бы не поощрялось, не приветствовалось, думаю, что и на верхних этажах также. Приказали, выполнил, доложил. И не маши языком. Ну, не молча служили, живые же люди, но разговоры тоже были с оглядкой, ну, рыбалка, это сколько угодно, футбол, это пожалуйста, «Динамо» тогда отлично играло, и кино, кому какие артисты больше нравятся, тут даже споры были, кому Самойлов, кому Абрикосов, одни за Лемешева, другие за Козловского, это все равно как одни за «Локомотив», большие костоломы были, а другие за «Пищевик». Разговоров таких на два дня сидения носом к носу, знаешь, как-то маловато, а молча сидеть тоже вроде бы и неловко. Когда люди вместе соберутся и молчат, это первый признак вражды или тупости, нормального человека корежит, если молча вот так сидеть. Вот и решай задачу: с одной стороны, немногословие, сдержанность – это у нас поощрялось, а с другой стороны, и дураком деревенским неотесанным тоже выглядеть не хочется... Не любил я этих «засад», будь они прокляты, вот как раз из-за этих молчанок, или еще хуже, разговоров каких-то неестественных...

С телефоном был смешной случай. Вдруг по нашему телефону оперативного дежурного какие-то девчонки стали названивать. Я сидел помощником дежурного. Звонок. Я спокойно отвечаю: «Здесь Сережи нет, вы ошиблись». Опять звонок. «А разве вы не Сережа?» – «Нет, не Сережа, девочки, вы мешаете работать». Хиханьки и какой-то дурацкий разговор, вроде того: «усы у вас есть?» Я терпеливо их переспросил, куда они звонят, по какому телефону, они

называют наш. Тогда я им говорю, забудьте этот номер раз и навсегда и никогда больше сюда не звоните. А они говорят: «А как же мы услышим тогда ваш голос?» А голос у меня действительно красивый, не они первые заметили. Я и пою прилично, в самодеятельности у нас украинские песни лучше меня никто не мог... «Солнце низенько, вечер близенько»... Иногда и на бис пел, особенно дуэт у нас был, Тоня Вилкова из секретной части, зав секретным делом производством, коронный номер: «ты ж менэ пидманула, ты ж менэ пидвила...» Но, возвращаясь к телефону... Опять девочки звонят и продолжают высказываться о моем голосе. Я им тогда уже строго говорю: или прекратите эти звонки, или сниму у вас телефон. Прошло часа два, не больше, опять звонят, адрес у меня уже к этому времени был, послал «эмочку» за ними, привезли. Велел их в коридоре посадить. Сидят. Вышел специально на них посмотреть. Лица нет, бледные, от страха даже плакать не могут. Да, думаю, ваше счастье, что я не Казбек Иваныч, от него бы вы так легко не отделались... Ничего с ними делать не стал. Подписал через три часа им пропуска и выставил на улицу. Даже разговаривать не стал. Был у Казбек Иваныча такой прием по профилактике. У нас же не только это... но и профилактика была. Вызываем человека, никаких ему обвинений, ничего не доказываем, а просто по-человечески говорим: «Вам, товарищ, нужно быть скромнее вот в такой-то и в такой-то области. Мы вас предупреждаем и надеемся, что разговор первый и последний. Можете быть свободны». Я заметил, что Казбек Иваныч приглашает на «профилактику», а часто даже не разговаривает. Продержит в коридоре часа четыре-пять и отпустит. Один раз я его так, между прочим, спросил: «Опять не успели по «профилактике» побеседовать, рабочего дня прямо-таки не хватает». – «Нет, – говорит Казбек Иваныч, – у меня такой метод. Что я ему могу сказать на беседе? Очень мало: не болтай, не мешай работать такому-то, не дискредитируй такого-то, отстань от жены такого-то... Все! А представь-ка, сколько у него самого мыслей, чувств и подозрений, пока он четыре часа у меня в коридоре простоит или даже просидит? Он же всю жизнь свою переберет по косточкам, он же все вспомнит, тысячу раз покается, столько всего передумает, что я ему и за десять бесед не расскажу. И что самое главное, он уходит и понятия не имеет, что я знаю, а чего я не знаю. Он уходит обязательно с предположением, что я знаю – все! Для этого я его и вызывал». Удивительный был человек Казбек Иваныч, резкий, крутой, никого не жалел и себя не жалел, и очень умный. Когда по пятьдесят – двести человек за ночь брали, обязательно вечером совещание, инструкция; все хорошо проводили эти инструкции, и начальники отделов и замы, а Казбек Иваныч лучше всех, после его накачки крылья вырастали... И простым умел быть, и веселым, на одном празднике пил вино из туфли Нади Власенковой, а туфелька у Надюши сорокового размера лодочка... Да, Казбек Иваныч, Казбек Иваныч, прост-то, прост, а цену себе знал.

Рассказать, как дневали и ночевали в управлении, как по неделям меня дома не видели?... Начнешь рассказывать, только и оглядывайся, как бы лишнего чего не сказать. Ведь не только мы, но и те, кто на свободу выходил, тоже подписку давали о неразглашении. Ничего разглашать нельзя, все запрещалось, и про ход следствия, и про режим в лагерях, и о транспортировке, и вообще... Я думаю, что пересуд по «58-й», когда один срок кончился и тут же второй подкидывали, как раз и делался главным образом для неразглашения. Если выжил и вышел, разве удержится человек, чтобы лишнее не сболтнуть. Может быть, «лишнее» как раз и есть самое главное в его жизни и в моей, вот и получается, что на нашу с ним жизнь разом один крест поставлен. Он – враг, преступник, а я? Мне-то почему надо свою жизнь от людей таить?

Возьми Валентина. Мать его была крестной моей жены. Кончил резиново-технический техникум и был в 35-м году взят в НКВД, дневал и ночевал в «Большом доме», на повышение пошел на Сахалин, там до подполковника дорос. Слышишь, подполковник!.. Рюмин с подполковника на замминистра пошел, так-то... Приехал с Сахалина тихо-тихо, ни погон, ни пенсии, пошел на «Красный треугольник» помощником мастера, потом мастером сделали, умер, кажется, уже замначальника участка. Что о Валентине можно сказать? Человек честный и холодный, старательный, добросовестный и несколько ограниченный... Сколько раз я к нему

подъезжал, так и не раскололся. Даже мне ничего не сказал. От врагов должен быть секрет, это я понимаю, а нам-то что ж друг от друга таиться, мы же – одна семья, все свои... Или вот ордена. Сейчас у нас какой, шестьдесят шестой, так? А несколько лет назад была затея – ордена отобрать. Выходит, зря их давали? Нет, зря у нас ничего не дают! На персональную пенсию тоже наши стали подавать, из райкома такой формальный, бездушный ответ: «...служба в органах не дает привилегий...» Всю жизнь давала, всю жизнь были почетом окружены и любовью всего народа, а как пенсия – так «не является...». Скажи, справедливо, а? Помню, комендант был в «Большом доме» до войны, четыре ордена Красного Знамени было, длинная такая фамилия еврейская. Полной фамилией любил расписываться, а квитанция о приведении в исполнение вроде квитанции подписки на газету или журнал, небольшая, и места для подписи мало, не больно-то разбежишься, так он умел всю свою фамилию до последней буквы уместить. Много таких квитанций подписал, потом и ему подписали... Что ж он, не знал, что работа его бесследно не проходит, что сам он тоже на краю, по лезвию ходит, рискует... и после всего этого – «не дает привилегий»!..

В целом я судьбой своей доволен, пусть чинов не нахватал, в скромном звании прослужил, зато жив...

Говорят – каждый труд почетен. Говорить-то говорят, а слышал ты когда-нибудь, чтобы песня была, ну, хотя бы о конвоире, о конвойной службе? Когда канал Москва – Волга строили, там даже лучшие композиторы конкурс проводили на «Марш каналармейцев», а вот о конвоирах опять ни слова. И стихов о них детки на праздник не рассказывают, и в театре постановок нет. Хотя одну пьесу про перековку в лагерях на Беломорканале помню, на жизнь не похоже, но в воспитательном смысле очень полезная, руководство ее сильно поддерживало, во всех театрах шла...

Я за театральной жизнью не очень внимательно слежу, больше все с ребятишками, то в ТЮЗ, то на оперу пойдешь, то «Щелкунчик» посмотришь, сильнее всего мне «Спящая красавица» нравится, три раза смотрел... А вот за одной фамилией режиссера, Жулак фамилия, очень внимательно слежу. Он у нас работал. Года четыре во внутренней охране был, потом недолго на оперативной работе, и все время в самодеятельности, постановки к праздникам, сценки смешные, так и пошел-пошел, в театральный институт поступил, или пристроили, уж не знаю, но отучился, все как полагается... Встретил я его, был такой плюгавого вида и морда, как у злого мопса, и смеялся не как люди, а как воробей охрипший: хри-хри-хри... А тут гляжу: веселый, счастливый, пальто нараспашку, прямо на улице руки раскидывает: «Здравствуй, друг!» – и смеется так, что прохожие оглядываются, для них и смеется... Я – как-никак боевой штык, мне завтра, может быть, с врагом лицом к лицу опять встречаться, и незачем совершенно на шумной улице вот так вот на себя внимание обращать. Во мне хоть и более ста восьмидесяти сантиметров, но я умею быть незаметным. Но это к слову. «Ну, как вы там?!» Жулак интересуется. «Здрасьте!..» Что значит «как там»? Или он вправду ждет, что я ему сейчас оперативную обстановку буду докладывать, или мероприятия «по режиму», или кадровые новости? Я его спрашиваю: «Уточни – где там и что тебя конкретно интересует?» Смеется. «Меня, – говорит, – вспоминаете?» Здесь разговор другой, конечно, говорю, следим внимательно... Он на цыпочки поднялся и мне прямо в ухо: «Пасете, значит?» – и опять смеется. «Брось, – говорю, – про свои успехи расскажи». Шекспира постановку делал, то ли «Сон в летнюю ночь», то ли «Двенадцатая ночь». Я его спросил на подначку, из нашей жизни ничего не хочешь поставить? «Нет, – говорит, – у меня дарование комедийное». Да, пожалуй, с комедийным дарованием надо что-нибудь из колхозной жизни или про ученых... Потом он еще «Ночной переполох» ставил, спектакль. Наши обратили внимание, что ему нравятся названия, где слово «ночь» присутствует, словно память о тех временах, о молодости своей, когда ночью самая-то работа и была».

XI

«...Ты за окно посмотри... Нет, белая ночь для чего-то людям нарочно дана, может быть, это еще до конца и не понято.

Я своего первого как раз в белую ночь, в конце апреля доставлял. Работы было много, с транспортом тогда еще туго было и кадров не хватало, дело прошлое...

Арест как проводится? Все зависит от личности, которую нужно арестовать, и от того, что можно найти у этой личности при аресте. Если он живет в какой-нибудь комнатухе, то два человека вполне достаточно. Ну, понятой еще. Если апартаменты или дача, дворец где-то, там целая бригада работает. Тут бригада не понадобилась.

Самый мой первый, даже фамилию помню, все помню до мельчайших подробностей, хоть сейчас с завязанными глазами пройду весь маршрут... Фамилия? Не суть важно, все у него было, была и фамилия у него, в свое время даже довольно известная в своих кругах. Шатен, рост средний, глаза стального цвета, глазницы глубокие, фигура склонная к полноте, возможен темно-синий костюм, пиджак двубортный, из характерных примет – подергивание правым плечом, жест такой, будто птица ему на плечо села, а он хочет ее толчком плеча согнать. Лицо круглое, подбородок скошенный, рот прямой, губы узкие... И так далее. А ведь сорок лет почти прошло! С трепетом приступал к самостоятельному заданию и ответственно. Волновался, конечно. Вообще-то, мне как бы не по чину было идти старшим на арест, но, я говорил, народу не хватало, и хотел все сделать самым лучшим образом...

Времени было в обрез, а я все-таки вырвался днем и успел маршрутик пробежать.

Что запомнилось? Днем, когда маршрут смотрел, около дома 61 на канале Грибоедова сильно гороховым супом пахло. А когда уже ночью его вел, на этом же месте, у дома 61, вдруг грибного супа сильный такой запах... И оба раза подумал: вот она – мирная жизнь, люди суп варят, а я по приказу, с оружием на врага иду...

Адрес такой: Большая Подъяческая, дом 9, вход с улицы, но неказистый, справа от подворотни, которая прямо посреди дома, небольшая дверь, вот тебе и парадный подъезд. Вошел, сразу направо три ступеньки вниз дверь в дворницкую, потом площадка, поворот налево, и сразу начинается довольно широкая лестница. На лестничной площадке два окна во двор, подоконники низкие. Мотаю на ус, бывало, что в окно делались попытки... От дома до Подъяческого моста через канал 125 шагов, потом направо до Кокушина моста две подворотни, дворников я предупредил, чтобы были ворота закрыты, от Кокушина моста до Сенного одна подворотня, от Сенного до Демидова тоже одна... Вполне приличный маршрут, вести можно. Самый опасный участок – это от канала до Мойки, от Демидова моста, считай, до Мойки 440 шагов и семь подворотен, два сквозных парадных подъезда и четыре двойных двора, один, с выходом на Столярный переулок, особенно нехороший. Ладно, вижу, что тебе неинтересно. Короче. Приходим. Третий этаж, этажи высокие, квартира старая, звонок интересный, сейчас таких не осталось, латунный такой набалдашничек в латунной такой луночке, за набалдашничек потянешь, в квартире молоточком по колокольчику... А еще были «Прошу повернуть!», металлические, вроде велосипедных. Два этих типа звонков самые распространенные в городе были, хотя приходилось частенько и стучать. Стучать я не любил, другое дело звонок, культурно, аккуратно, и нет лишнего шума.

Звоню. Открыли быстро, хотя была уже половина второго ночи. Я говорил, да? Открывает мужчина, роста небольшого, на голове платок носовой уголками подвязан, склонная к полноте фигура или не склонная, не поймешь, морда вытянутая, трусы, майка, на ногах валенки со срезанными верхами... Голова оказалась после бритья платочком завернута, в трех местах порезался. Смотрю на него и ничего не понимаю, зацепиться не за что. Неужели квартирой ошибся, перепутал от волнения? А то, что, кроме этого типа, еще в квартире полно народу

может быть, к дверям сейчас припали, в голову не приходит. Салажонок... Это мне сейчас смешно, а тогда было не до смеху. Стыдно. Хлопнет сейчас меня дверью по роже, и что тогда? А сердце подсказывает: нет, не ошибся... нет, не ошибся... На всякий случай спрашиваю: «Такой-то и такой здесь проживает?» Он молча показывает рукой на дверь, где за матовым стеклом с морозными наведенными цветами, красивый узор, свет горит... А квартира интересная: прихожая вроде зала, а из нее шесть дверей и никакого коридора нет. Открываю, вхожу. Комната большая, но пустынная, кровать железная, этажерка с остатками пищи, на двух стульях чертежная доска положена вместо стола. Полное впечатление, что хозяин выехал, и совсем недавно. У меня душа упала. Опоздал! Пусто! Нет никого... А ведь только что был: койка помята, жильем пахнет, окурки, бутылки пустые, все на месте, а человека нет!.. Хорошо ты, братишка, службу самостоятельную начинаешь, бегать и бегать тебе еще на поводке... Но тут входит этот самый, с платочком на голове, дверь прикрыл и объясняет: я такой-то и такой... Представляешь! Вот как судьба иногда поворачивается! Ну, жилище такое, что обыск проводить одно удовольствие. Пока он одевался, мы уже все бумажки заполнили, протокольчик подбили. Оружие есть? Нет. Литература есть? Нет. Письма, ценные бумаги, деньги?.. Нет, нет, нет.

Только на этом впечатления не кончились.

Одевается мой крестник, смотрю – глазам не верю: костюм темно-синий, пиджак двубортный, фигура, склонная к полноте... И рост, действительно, средний. Когда я там на лестнице со своей высоты на него смотрел, конечно, он мелкогато выглядел, а тут, когда я на стуле сидел, над столом его чертежным согнувшись над своим протокольчиком, смотрю – рост средний! Оделся он и вдруг плечом: р-раз, будто действительно птица ему на плечо села, и он ее согнать хочет. А для меня это как расписка, как последний знак – тот самый! Не сомневайся, брат, шагай смело! Полный вперед!

Выходим.

Направо за Садовой пожарная каланча, налево, за каналом, Исаакий, золотой шатер. Он хотел направо, на Садовую, а я его пускаю по каналу, у меня уже намерено. Набережная чем лучше? Пути отхода вдвое подрезаются, проходных дворов, парадных, перекрестков, переулков вдвое меньше, чем на любой улице. А как он увидел, что я его и через Подъяческий мост не перевозжу, а по этой стороне пускаю, потому что на той стороне хоть и короче, а подворотен больше, он поворачивает ко мне лицо, а морда, как у покойника. «Отход подрезаешь?» Я ему за это тоже нервно: «Не разговаривать!», а сам удивляюсь. Разговорились. И что ж оказалось! Оказался из наших... Не совсем из наших, но из прокуратуры... Почему он и побрился, оказывается, заранее и в комнате пусто было, и семья от него как-то очень уж вовремя ушла. Явно человек готовился... В воду? Зачем ему в воду? Не смейся. Это сейчас – вода, а тогда вдоль всей набережной барки с дровами, плашкоуты с кирпичом, садки рыбные, лотки, плоты какие-то, черт знает что, так что свободной воды и посередке-то было немного, не то, что у берега...

Иду как-никак за старшего, волнуясь. Со мной всего один вертухай из деревенских. В смысле физической силы вроде и ничего, а в смысле соображения, тут уж только на себя вся надежда.

Топаем по каналу, сзади вертухай подковками по белым пудожским плиткам чиркает, а мы рядом, вроде как приятели или коллеги, как оказалось, только уж он-то поопытней меня был, куда там!..

Плечом знаешь, отчего дергал? Пуля у него в плече была, испытывал неудобство. Говорил, что пуля лично от атамана Григорьева. Я припомнил, что кто-то у нас рассказывал, как метко стрелял Григорьев, ну и ввернул ему. Он мне возразил: «Стрелял бы, – говорит, – без промаха, так и пожил бы подольше...» И рассказал, как Никифора Александровича Григорьева лично свалил с одного выстрела Махно Нестор Иванович в отместку за Максюту...

Вышли к Певческому мосту, остановились покурить, дослушать его хотел, он мне еще два случая поучительных привел, как доставлять без эксцессов. Он в штатском, мы в штат-

ском, стоим, беседуем. Мост, вода, тут уже совсем светло, хоть и ночь... Может, и Пушкин с Онегиным на этом месте стояли, теперь мы стоим...

Молодость... Пора первых впечатлений. Все в жизни важным кажется, все новое, все запоминается. Этого первого я часто потом вспоминал, не потому, что первый, не такой уж он, в конце-то концов, и первый, по правде-то говоря, первый мой, самый первый, застрелился, когда мы позвонили, а вот советы этого, с плечом простреленным, дельными оказались. И одно как бы жизненное наблюдение, рассуждение, тоже до сих пор вспоминаю, к специфике нашей не относится, можно и рассказать.

Он был старше меня, опытней, видит, что салажонок не в себе, напряжен, решил обстановку разрядить. Я, говорит, тоже поначалу боялся палец с курка убрать, а потом бабахнул раз сдуру, чуть ногу себе не прострелил да еще губы семь суток получил. После этого поумнел и успокоился. Теряешься отчего? Людей-то вон какая прорвища, и все разные, у всех свое на уме. Каждый со своей повадкой, физиономией, скрытыми мыслями, до которых другой раз так и не докопаешься... Как тут не растеряться! Я с ним согласился. «А вот пожил, посмотрел, побеседовал с людьми и так, и на допросах, и понял, что не такое уж пугающее в людях разнообразие. Не так уж они друг от друга и отличаются. Из чего все инструкции исходят, наставления, методики? Да из того, что подавляющее число людей в одинаковых ситуациях ведут себя похоже...» Заметил – не одинаково, а «похоже». Это он меня от шаблона предостерегал. «А тех, – говорит, – которые действительно на других не похожи, к которым общий подход не годится, их за версту видать, это раз, и по пальцам пересчитать, это два. В массе своей каждый человек есть хочет, спать хочет, жить хочет... Вот и соображай!»

Тогда я еще понять не мог, какой ключик передал мне мой первенький. В общем, был я тогда еще под впечатлением от человеческого многообразия, а со временем слова его всплыли у меня в памяти... Верно он подметил: каждый человек хочет есть, спать и жить...

А вот и конец этой истории с одним неизвестным. Докурили, это уже на Певческом мосту, я его спрашиваю: «Смешно получается, вроде я вас доставляю, а вы меня еще и натаскиваете. А?» Тогда он мне и открылся. «Я, – говорит, – когда увидел, что машины нет, что поведут меня, мелькнула мысль: прихлопнет меня эта оглобля с детским личиком... Без понятых пришли...»

Тут я себя хлопнул по лбу: мать честная! От нервного напряжения так лопухнулся. Салага, и есть салага!

Зашли тут же во двор Певческой капеллы, нашли укромное место, я планшетку достал, он сам за понятого расписался. Посмеялись, конечно, а потом уже серьезно потопали... Сдал я его без сучка, без задоринки и больше наяву, как у нас говорится, не встречал. Интересный человек, образование высшее. А многие скрывали, даже справками запасались, что у них пять-шесть классов всего. А ребята потянут, размотают, глядишь – высшее. И чего скрывать? Все таятся, таятся, а потом удивляются, что к ним так строго. Я еще понимаю, мне свое неполное нечего выставлять... Кстати, у Пильдина, если эту школу межкраевую не считать, шесть классов всего, а смотри-ка, я пропуска проверяю на ногах да, как бобик, территорию по три раза обегаю, а он сидит в кабинете с тремя телефонами, и это с шестью классами. Кто-то у него в кадрах есть, я даже точно знаю кто...»

XII

«...Как в органы попал? Да по-смешному, и опять же белая ночь, крестная моя!

Нельзя сказать, что я судьбой к концу двадцатых годов был обласканный, но и в обиде не был. Родом я из Порожкино, ходил пацаном на заработки в Ораниенбаум, там все больше в порту перехватить какую-нибудь работенку удавалось или на станции. Порт и станция там на одной территории. Так к флоту и прибился. А какой в ту пору флот? Даже Балтийское пароходство чуть не каждый год вывески меняло и не было сильным звеном в системе нашего водного транспорта. К слову сказать, на Каспии или в Архангельске еще хуже было. Не освободился флот еще от пережитков прошлого. А главных пережитков было два: пароходы и береговая служба. На «Рылеев» я на первый пришел, бывший «Инза», 1863 года постройки, дидвейту 64 тонны, освещение керосиновое, скорость считалась 8 узлов, только кто и когда на «Рылеев» эти 8 узлов видел? Стоял он на Гутуевском острове на правый борт завалившись и вспоминал, как еще недавно в Ладоге тонул... Да что «Рылеев»!.. Когда в 31-м году у нас новейшие лесовозы пошли собственной постройки, тоже никакой конкуренции составить не могли... Паспортная скорость была 8 да 8,5 узлов, а кто кроме «Мироныча» эти 8,5 показывал? Пароходы новые, а грех старый, то корпуса по обводкам неудачные, мощности машинам не хватало, поверхности нагрева котлов маленькие, приходилось, чтобы план выгонять, на форсированных режимах ходить, котлы и прогорали, не выдерживали. Вот тут и началось – вредительство! Новые корабли, а со старыми иностранными тягаться не могли. Основной фрахт иностранцы забирали, а мы окусывались. Такой флот. Старье, музей пароходной истории, самому молоденькому, пока свои строить не начали, было 15 лет, а большинство по 20–30 лет постройки, из прошлого века, считай, приплыли, никак утонуть не могли. Впрочем, и тонули, и бились подходяще. «Герцен» прямо в Темзе чуть «Лондон» не утопил. «Буденный» в Английском канале в какой-то пароход немецкий врезался. «Карл Либкнехт», крепенький пароход был, на Черное море его переводили, у тех совсем ничего не было, белые весь флот угнали, так умудрился этот «Либкнехт» у Константинополя, где маяков, да знаков, да указателей, как на улице городской, так он все-таки на мель залез. А особенно страшно было плавать на танкерах. Даже капитаны толком не знали правил перевозки нефтепродуктов, температуру вспышки нефти определяли по Брекену да на глазок, а нефть, я тебе скажу, это еще тот груз!.. Особенно легкая, это – самая огнеопасная, вроде бензина, а курили, где кто хотел. А главное, шли под нее и второй и даже третьей категории суда. Что делали? Первой категории мет наливного судна, под легкую нефть, а везти надо, раз-два, перевели из второй категории в первую галошу какую-нибудь, которая уже и своим ходом идти не может, и потопали под уздцы, на буксире значит. Регистр? Да какой регистр, если они даже за корпусами, за котлами смотрели из пятого на десятое. Наливному судну для безопасности напрессовка второй палубы нужна обязательно, кто за этим смотрел? Да никто!

Были и отсталые слои моряков, не хватало же ни матросов, ни кочегаров, особенно механиков, машинных специалистов. Меня, к примеру, дважды списывали на берег за отказ от работы. Я для себя так тогда решил: тонуть – ладно, здоровый, выкручусь, а гореть – здесь здоровье не поможет. Как меня на танкер – я в отказ. И не один я такой. Матросы по 5–7 судов за год меняли. От хорошей жизни, что ли? Когда плот развяжется, прыгаешь с бревна на бревно, только прыгнул, оно вниз, ты на другое, оно тоже вниз... Так и мы с парохода на пароход. Что ты хочешь, «Рошаль» чуть не три года на якоре простоял, у него якорь в грунт врос. Стали поднимать, паровые брашпили у него сильные были, на «Рошале», а не тянут, тянут, да только его самого носом вниз. Водолазами, водолазами якорь поднимали! Это же смех на весь флот... А то, что фарватер весь топляком забит, а в Петропорту только 600 затонувших барж, пароходов, плашкоутов? Уж на что «Ермак», краса и гордость русского флота, а с 18 года, с

«Ледового похода», – с серьгой плавал. Он тогда транспорт «Оку» из льда выколупывал, то ли на маневре привалился, то ли льдами его прижало, только якорь «Оки» ему в борт впечатался, так он с ним и плавал чуть не до 24 года.

Я и на «Декрете» был, и на «Франце Меринге», и на «Софье Ковалевской», парходики, надо сказать, изношенные до невозможности... Что я мог видеть? Кубрик, трюм, машина, палуба. Многого не увидишь, а были и легендарные успехи, и легендарная борьба, и факты, до сих пор составляющие украшение. Как «Ермака» после ремонта встречали!.. А каждый новый лесовоз!.. А как гремели «Красин», «Ян Рудзутак», «Смольный»... Все было. Уходят люди, и все забывается...

Тяжелое было положение на флоте, если уж с «морских кладбищ» суда стаскивали и пытались ремонтировать, если вместо кардиффа наш донецкий уголь пошел, и дороже и хуже, если вместо смазки – черт знает что... А с другой стороны, нездоровая бесхозяйственность тоже была налицо. Вот и поплыли миллионы рабочих рублей сквозь пальцы в карманы иностранных парходных компаний, часть этих денег, конечно, попадала к пролетариату капиталистических стран, мы им работу давали, это факт утешительный, но силы нашего государства от этого крепи слабо. Стали, как говорится, вскакивать гнилые прыщи на теле советского торгового флота. Среди плавсостава наметился у многих определенный уход в кабак. Пошли разговоры о том, что техническое состояние флота якобы вообще не позволяет выполнять план перевозок без угрозы судам и экипажам.

Позиция эта, конечно, капитулянтская, по ней ударили таким лозунгом: когда техническое состояние судов не очень хорошее, когда материальная база старая, тогда возрастает роль социалистической дисциплины. А на ряде судов и на отдельных участках береговой службы развал дисциплины и ответственности. Тут и вскрылось, что главная причина аварийности, невыполнения плана перевозок и ремонта, прежде всего, в разболтанности личного состава и серьезной вине командного состава. С двух сторон и взялись... Никто углублять преступную практику, конечно, не позволит. В общем, борьба пошла, как тогда говорилось, кто кого.

Я дожидаться, пока история ответит на этот вопрос, не стал, и как только место подвернулось, ушел на берег. Пост у нас был, у Толбухина маяка: вахты, дежурства, механизмов никаких таких нет, значит, и вредительству развернуться негде... Жить можно.

Любил я белой ночью вахту стоять, может, самое лучшее, самое светлое время во всей моей жизни...

Дело прошлое, я, с одной стороны, крестьянин, конечно, а ведь, с другой стороны, у меня папаша чайную держал деревенскую. Плохонькая, маленькая, грязная, тесная, в пол-избы, а что делать? Сестер шесть штук, а земли – собака ляжет, хвоста не протянет... А всех накорми, всем приданое... Сначала, помню, зимой корзины плели, непосредственно в Петроград отец возил, брали их там здорово, специально для бумаг корзины, крупные и помельче, для учреждений. Потом коровенку вторую прикупили, потом третью. В поле девки какие работницы, но отец их гонял, ходили за бороной и за плугом, бывало, как миленькие, а на покос так не с грабельками, а с косой... Я последний был, сестры меня «баринком» дразнили, отец сильно баловал. Детство вообще-то большая радость, только с детства у меня к крестьянскому обиходу сердце не лежало, я больше склонялся, если так выразиться, к пролетариату. В чайной отцовской только на людей ожесточился. Я мальчишка совсем, а на моих глазах сестер щиплют, тискают, отец будто и не видит, а я только что не в драку, даже кусаться насобачился... Уж наелся я «лакейского отродья» на всю жизнь. Нас, может, и раскулачили бы, не за такое «богатство» двадцать четыре часа давали, да Надюха к этому времени в суде секретарем работала и жила потихоньку с помощником прокурора Барсовым Андреем Ильичом, человек он был очень цельный и собранный, он здорово потом поднялся. Приходит он раз в суд, а Надюха лежит вот так вот, голову на руки, и льет слезы на какие-то протоколы. Барсов к ней: «Наденька-Наденька, что случилось?..» Струхнул. А та сквозь слезы: «Раскулачивают...» Чайную нашу прихлопнули, а

самих трогать не стали, обошлось. Когда Андрей Ильич в Ленинград перевелся, Надька еще, бывало, к нему наезжала...»

XIII

«... Я заметил, что белой ночью все неустройство жизни будто замирает, наружу не прет, прячется, не видно его, покой и на людей, и на природу сходит... В белую ночь даже дождик, ветер сильный, циклоны разные – большая редкость. А погодка питерская, сам знаешь! Или взять тишину... Может быть, самая мудрая вещь на свете. Я тогда богом немного увлекался, влюблен был в одну монашенку, так от тишины этой чего только не напридумываешь. Раз показалось, если затаю дыхание, услышу, как от земли к небу молитвы разных людей тянутся, тех, у кого в силу ограниченности сознания уже нет надежды на милость и справедливость на земле. Мелкая волна хлопает у прибрежных камней, и в этом плеске слышу бабки-покойницы молитву, она подолгу на коврике у киота на коленях стояла и тоже хлопала своим мокрым ртом слова молитвы. Сколько раз я ни пытался слова разобрать, ничего понять не мог кроме «господи, помилуй...». Дразнил я ее, что непонятно говорит и милости ей не будет. Она зыркнет глазом и пальцем в меня: «Все Бог слышит, все слышит!..» Раз, помню на вахте подумал, что в такую ночь, наверное, отпускает бог из чистилища души праведников, чтобы могли они взглянуть на оставленный ими мир и утешиться: нет праведникам места на земле, их место в царствии небесном, и представлял себе, как в умилении и скорби неизреченной возвращаются эти души на первых солнечных лучах в свою небесную обитель ожидать Страшного суда...

Или чайку возьми. Глупейшая, пустяковая птица, в сравнение даже с воробьем не идет, а ночью и они в какую-то другую жизнь погружены, не вздорничают, стоят на камнях, как мраморные слоники на полочке. Взлетит вдруг одна, сделает кружок-другой, поскрипит что-то свое и снова на камень... Помню раз, привык уже к этим ночным их коротеньким полетам, а тут вдруг одна снялась и пошла, и пошла, все выше, выше... Чайка только на перелете высоко идет, а так у них полеты вроде куриных, а тут – вверх, вверх! И кричит, кричит!.. Ну, думаю, душа чья-то уходит... Только подумал, в этот миг она разом вся красной стала, словно сердце у нее лопнуло, и летит она, кровью облитая, криком исходит, и все вверх, вверх, вверх... Ух, ты, черт, не по себе стало... А товарки стоят себе, не шелохнутся, сбизонились, носы подтянули... Поднял к глазам бинокль, а она уже вся белая. Да такая белая, будто внутри ее свет вспыхнул, и стала она вся прозрачная, как святая душа, белизной светится... Чувствую, как у меня под форменкой колыхнулось что-то, словно сам я вырвался откуда-то и лечу, лечу, и нет мне ни запрета, ни помех, хочу – к солнцу, а захочу, так и еще дальше! Повел биноклем в сторону, в одну, в другую... Вот и судьба моя! Этак кабельтовых в шести-семи что-то на воде болтается. То видно, то не видно. Ветерок легкий прошел, волны нет, а словно дрожь на воде, будто зябко ей... Вроде пропало... Стал опять свою чайку сверху искать, сколько глаза ни пялил, как сгнула. На воду смотрю, вроде опять что-то такое... Голова, не голова, может, и топляк, дело обычное. У нас двойки тут стояли. Я Фролову говорю, мы вместе в ту ночь дневалили, схожу, говорю, посмотрю одно дельце. Пошел на двойке, даже поплутал немножко, створы взял приблизительно, а тут снова ветерок, да чуть уже порывистый... Нашел! Небольшой такой буюк. Потянул. Веревка тянется, шнур шведский. Длинная веревка. Мотал, мотал, потяжелело. Вынул. На веревку пять банок привязано. Банки знакомые, эстонская контрабанда. Банки цинковые, запаяны, а в ней деревянный бочонок. Чудесный спирт. Короче, четыре банки я в угольную яму пристроил, а одну понес и доложил. Так и так, обнаружена контрабанда. Доложили выше. Ждали поздравления и благодарности от трудового народа, как тогда говорилось. А оттуда, от лица руководящих товарищей спрашивают: «Где еще четыре банки?»

Оказывается, это они сами, сукины дети, устроили контрольное затопление, проверку нашему посту.

Вызвали меня, и началось. Я стою, только слушаю. Пока из матери в мать меня крестили, было время оглядеться и обдумать, сообразить. «Оборвались», – говорю «Что оборвалось?!» – орут. «Контрольный ваш груз оборвался», – говорю.

Приумолкли. Задумались. Закурили. Стали при мне договариваться, как активировать пропажу. Друг на дружку вскидываются. Тут один на меня уставился, Пизгун фамилия, человек с большим прошлым. Смотрел, смотрел и говорит: «Как же тебе, сукину сыну, удалось веревочку порвать?» – «Зацепилась, говорю, – за какой-то предмет на дне...» – «Нет, – говорит, – я про другое тебя спрашиваю, ты мне детские глазки свои не топорщ! Этой веревочкой можно барки чалить, как тебе порвать ее удалось?» – «Вот так», – говорю и показываю руками рывок. «А мы сейчас проверим, как это ты руками такие веревочки рвешь!»

Я не из робкого десятка, а слегка от страха вспотел.

Все на меня уставились, а Пизгун за веревкой пошел, принес моток шведского шнура. «Она?» – «Она», – говорю. Я и сейчас еще не слабак, а тогда и моложе был, и росту во мне хорошо, кулаком, как говорится, мог гвозди забивать, а сдрейфил. Потянул веревочку руками, а ее тяни, не тяни, и вдвоем не осилишь. «На рывок надо, как тогда...»

Стали смотреть, к чему привязать. А к чему в кабинете привяжешь? К несгораемому шкафу не привяжешь, к столу не привяжешь. Печка в углу стояла, за нее не зацепишься... Придумал один к дверной ручке привязать. Ручка мощная, то ли бронза, то ли чугун, дом старинный, дача бывшая, богатая. Ручка вполне солидная. Привязали. Стоят, на меня смотрят. Нет, думаю, меня за рупь-за двадцать не возьмешь! «Зря, – говорю, – человеку не верите...» И рванул. От души рванул, себя не пожалел. Можешь себе представить, с одного рывка оторвал ручку вместе со значительной частью двери. Филенку снес начисто. Они онемели, а я смотрю, как ни в чем не бывало и говорю для иронии: «Надо бы к чему покрепче привязать...»

Что поднялось!..

Думаешь, дело тем и кончилось? Если бы! К угольной яме подойти боюсь. Богатство такое под боком, а хожу как ангел трезвый и нервничаю. Спать не могу. Как аврал угольный, только доглядывай... Как бункеровка, так сердце обмирает...

Все решилось простым способом.

Подошел ко мне этот, который решил веревку испытать, Пизгун, и говорит так, будто мы с ним пайщики: «мне, – говорит, – надо две банки, остальное не интересует. Не пожалеешь.

Видишь, пожарный ящик с песком?» – «Ну, вижу». – «Завтра утром, раненько-раненько я оттуда достану две банки. Две, понял?» Повернулся и ушел.

Стал я сообщать. Попрусь к ящику, меня повяжут. Нехорошо. Не выполню просьбу, тоже плохо. Я не жадный. И спирт этот, что мне, торговать? Но, с другой стороны, голову в петлю совать не хочется... Отозвал Фролова, говорю, так и так, есть припасец, но за мной – глаза. Надо перепрятать. Идешь в долю. Две баночки я сам перепрятал, а на оставшиеся Фролова навел. В назначенный час они в ящике с песком. Никто Фролова не останавливал. Мог бы и сам все сделать, только осторожность меня никогда не подводила. А крохоборить в таких делах нельзя. Месяц прошел, я уже стал думать, что меня на пушку словили. Нет, вызывают в этот самый кабинет, где я дверь порушил, и спрашивают, как я отношусь к службе в органах. Я отвечаю – как к высокому долгу и почетной обязанности каждого гражданина.

Стали спрашивать.

«Главный лозунг периода реконструкции?»

Отвечаю четко: «Наступление по всему фронту...»

«Что есть смерть для наступления?»

Отвечаю: «Огульное продвижение вперед есть смерть для наступления».

«Что такое репрессии в области социалистического строительства?»

И об этом во всех газетах полно. «Репрессии в области социалистического строительства являются элементом наступления, но вспомогательным».

И последний вопрос помню: «Где живет и подвизается наша партия?»

А я как раз знал! «Наша партия живет и подвизается в самой гуще жизни, подвергаясь влиянию окружающей среды».

«Чьи слова?»

Впору пионера спрашивать... «Слова товарища Сталина».

Переглянулись, головами покивали, полистали личное дело мое тоненькое, и не подмигни мне товарищ Пизгун, я бы, честное слово, никакой связи с ящиком с песком не нашел бы...

Вот так и началась у меня новая судьба, новые странствия. Я же и на Севере был, и на Дальнем Востоке, хоть и немного, встречи были с разными людьми и множество неожиданных случаев. Может быть, и не ящик даже с песком свою роль сыграл. Я за год до того, прежде чем на пост перейти, на берег, рейсом на Игарку ходил. В Питере безработица, так для порядка вывезли городских, полицейских бывших, проституток и привлеченных за принадлежность к дворянству. Там они все и остались. А рейс был по-своему незабываемый...

Вообще с моей биографии свободно можно роман писать.

Воробы-то, воробы-то расчивикались... Э-э... да скоро и трамваи пойдут. Слово за слово, и ночь пролетела.

Мне чем нравится под праздники дежурить? Под праздник всегда после зимы окна моют, и здесь, на фабрике, и в управлении. А занавески, заметил, не вешают. В стирке они еще, что ли? Только всегда дня три-четыре стоят окна вымытые и без занавесок. Лучшей красоты не знаю, чем хорошо вымытое окно! Будто не в стене, а в душе у тебя чисто и прозрачно. Через чистое стекло и жизнь за окном и ясной кажется, и веселой...

Нет, что ни говори, есть в ленинградских ночах что-то исключительное, мечта какая-то над городом разлита... Тишина. Будто и не было ничего худого, ни мрачного, будто все еще впереди, будто жизнь только еще начинается, и облака, смотри, тоненькие, как бумага, лягут на землю, как чистые листы, садись и пиши жизнь набело... Для чего белая ночь дана? Чтобы подумать, чтобы понять, что делаем, куда идем... Сиди и думай, не в потемках ночных, не в комнатах прокуренных, а вот так – в тишине и засветло, когда все кругом видно и день только еще наступит...

Это что ж, смена уже снизу звонит? Никак, у нас часы с тобой поотстали? Смотри-ка, и вправду стоят!...»

1966. 1988

Ленинград

Саамский заговор Историческая повесть

С. М. Ф.

*«О, Север, Север-чародей,
Иль я тобою околдован?
Иль в самом деле я прикован
К гранитной полосе твоей?»*

Федор Тютчев

*На языке саамов нет слова «убийца». «Убийца» переводится с языков народов, извечно нуждающихся в этом слове, как – «человек, взявший нож», что ни как не помогает раскрытию понятия.
Из Записной книжки Алдымова*

1. Счастье уполномоченного Комитета Севера при ВЦИК

На небесах творилось, бог знает что.

Как и полагается всякому волшебству, все происходило в полнейшей тишине.

Замерший под небом город вжался в снег, затаился, словно на улице объявили комендантский час, и даже белесый дым над черными бараками, бессонными котельными и трубами портовых мастерских, мгновенно таял в морозном воздухе, чтобы не осквернять черный бархат бездонного неба. Ступеньками едва наметившихся улиц, рядами бараков, выгнутых соответственно изгибу берега, город карабкался по каменистой земле от края черного залива к подножию белых сопок.

Холодный воздух с материка, перевалив через поднятый вокруг города белый воротник округлых вершин, тек вниз, словно за шиворот, хватая за носы и щеки упрятанных в тулупы уличных сторожей и вахтенных в порту, сползал к незамерзающей воде и, ударившись о теплую гладь, курился легким полупрозрачным зыбким паром. На черном зеркале залива, обрамленного белой, изломанной приливами и отливами береговой наледью, сквозь морозный пар проступали контуры двух десятков сейнеров на рейде и у причалов. Они казались забытыми детскими игрушками, рядом с необъятностью распахнувшегося неба.

А небо над городом было непроглядно черным, даже самые яркие звезды еле-еле могли пробиться сквозь его густую тьму и лишь напоминали, что еще живы, слабым дрожащим светом.

Зато черная бездонная пропасть над заливом плясала всполохами огня, как будто где-то за горизонтом, куда не достигал глаз, раздули горн, и пламя, исходящее от него, вырывалось на волю, летело вверх и уже само, опьяненное свободой, забыв о быстротекучей жизни огня, вершило вольный танец над белой полярной пустыней. А может, чья-то кисть, обмакнутая в бирюзовую краску, мазала сверху вниз струящиеся, льющиеся неизреченным светом полосы. Повисшая в небе цветная чересполосица дрожала, покачивалась, приготавливалась то ли к прыжку, то ли к движению, и вдруг незримый ветер куда-то сдвигал, гнал вывешенный чуть ни от зенита до горизонта занавес, только что начертанный еще текучей, не застывшей краской... Зыбкий, невесомый, он двинулся, потек... Казалось, вот сейчас, когда умчится это цветное

омрачение, тут-то и откроется, распахнется небесная твердь и явит всему необозримому людскому многолюдству, изверившемуся, изолгавшемуся, измучившемуся в жизни неистинной, свет той не мучительной, спасительной правды, без которой хоть не живи. Кто знает, может быть, устав взирать на людское неустройство, на бесконечное мучительство, царящие на Земле, Небеса открывали перед недремными очами высокие истины? Может быть, как раз сейчас, смилив морозным дыханием земную суету, свет Небесных истин готов был пролиться в людские души... Но глухой морозной ночью на улицах было пусто.

А вот на погосте Вороньем, что в десятке верст на север от Ловозера, вышел из занесенной по самую крышу приземистой тупы Сельма Канев, словно позвал его беззвучный зов плавающих небес. Он смотрел на пляшущие бирюзовые, розовые, малиновые всполохи, то замирающие, то мчащиеся за край неба. И замирала его душа при виде грозного напоминания. Каждый саам знал, что значит эта кровавая пляска. Давным-давно люди резались, и кровавые дорожки ушли на небо, и не высыхает эта кровь, и является в глухие морозные ночи, тревожа душу саама. И не должна больше эта давняя кровь касаться земли. Если северное сияние спускается к земле так, что, того гляди, в нее упрется, Сельма знал, как предостеречься от напасти, посвистить хорошенько в ладошку, вот оно и поднимется выше.

Из тупы раздался детский плач, похожий на писк котенка. Сельма взял горсть снега, умыл смуглое лицо, словно опаленное северным сиянием, и произнес про себя слова благодарности Мандяш-оленю, прародителю всех саамов, пославшему немолодому отцу седьмого сына. Морщинки у глаз расползлись в улыбку.

Старый Сельма уже по первому звуку узнавал, когда сын, когда дочка, как различал все звуки, полнящие молчаливую, для непривычного уха, тундру.

Была самая середина зимы.

Такой же ночью, где-то в берлоге, подумал Сельма, родит медведица...

Живет Сельма. Живет медведица. На голой ветке засохшей сосны комом снега застыла белая сова, примечающая не моргающими глазками в круглом веере перламутровых перьев признаки мышиной жизни под снегом. Спят, зарывшись в снег, куропатки. Спят, сбившись в стадо, положив головы друг дружке на загривок, самые давние жители Земли, полярные олени... Спит под занесенным снегом камнем, зарывшись в мох, старина лапландский таракан, чьи предки повидали и потоптали землю еще вместе с мамонтами и динозаврами...

Живет вечная тундра.

На улице Красной, что в поселке Колонистов, в доме уполномоченного Комитета Севера при ВЦИК, за полночь светилось окно, наполовину затянутое морозным кружевом.

– Нурия нас сегодня рассмешила. – Серафима Прокофьевна подошла к мужу, сидевшему над разложенной на столе картой-двухверсткой, обняла его и положила голову на плечо.

– Нурия? Что за Нурия? – не оборачиваясь, спросил Алдымов.

– Я тебе рассказывала, новая санитарка, татарочка... Привезли роженицу с Росты. Началось у нее, я говорю: «Тужься, милая, тужься...» Слышу, за спиной кто-то пыхтит. Оглянулась, Нурия стоит и пыхтит, вроде как тоже тужится. Спрашиваю: «Ты-то чего пыхтишь?» «А помогаю...»

– Ах ты, добрая душа... Береги ее... – сказал Алдымов, не отрывая глаз от карты.

– Ты знаешь, на что похожа твоя Ловозерская тундра? – спросила Алдымова Серафима Прокофьевна и поймала губами мочку его уха.

– На что? – спросил Алдымов, продолжая шагами игольчатых ножек гулять по выдавшей виды, с прогалинами на сгибах карте и заносить в блокнот вымеренные расстояния.

– А ты посмотри, – Серафима Прокофьевна еще крепче обняла мужа и прижалась грудью.

– Глаза б мои ее не видели, – вздохнул Алдымов. – Завтра в Облплане делать доклад о прокладке новых дорог в Восточном районе.

– Посмотри хорошенько, на что ж твоя тундра похожа?

Алдымов чуть откинулся на спинку венского стула и посмотрел на паутину горизонтальных колец, окружающих желто-коричневые пятна гор, расположившихся почти посередине Кольского полуострова, как раз между Умбозеро и Ловозеро. Чувствуя на своих плечах сильные руки жены, Алдымов потянулся, потер нагруженные глаза и посмотрел на карту.

– Не знаю, на что она похожа... На неприступную крепость? – словно нужно было угадать, спросил Алдымов.

– Неужели не видишь?

– Хорошие горки. Все под тысячу и за... Ну, подкова? Нет? Бублик с дыркой? Не знаю, сдаюсь.

– Да где ж твои глаза? Ловозерские тундры – это же плод в утробе. Смотри. – Серафима Прокофьевна опустила мизинец на карту. – Спинка плода повернута к Умбозеру, а голова и подтянутые к животу коленки обращены к Ловозеру. Между грудью и подтянутыми к животу ножками расположено несколько вытянутое Сайдозеро. Кажется, что этот, еще не родившийся человечек прячет священное для твоих саамов озеро. Вот и проток Мотка, соединяющий Сайдозеро и Ловозеро, отчетливо выраженная пуповина...

Алдымов засмеялся так, что у него затряслись плечи.

Серафима Прокофьевна отпрянула.

Алдымов бережно поднял со стола карту, с подклеенными трещинками на сгибах, обтрепанными краями и подержал ее перед собой на вытянутых руках.

– А ведь, пожалуй... Ну, конечно – эмбрион! А ведь мне это в голову не приходило. Вот тебе и ответ на все загадки. Такое глазами не увидишь, здесь нужно сердце зрячее. Так оно и бывает, труднее всего увидеть суть в привычном. – Алдымов бросил карту на стол и повернулся на стуле к жене.

Алдымов встал и, по-арестантски, заложив руки за спину, словно они мешали и думать и говорить, сделал несколько шагов около стола.

– Эмбрион, и этим все сказано.

Серафима Прокофьевна смотрела на взволнованного Алдымова, хорошо зная эту привычку вскакивать и, казалось, бежать за счастливой мыслью.

Из двадцати лет существования города на самом краешке северной земли спокойной жизни на Мурмане не было; одна война, потом другая, одни хозяева, потом другие. И хлынувший сюда последнее десятилетие народ в горячке преобразований еще не чувствовал землю своей. В бараках, считавшихся жильем временным, да и в двухэтажных домах из бруса, строившихся как жилье постоянное, не было ни вещей, ни мебели, подолгу живущих в семьях, где стариков сменяет молодежь. Да и стариков в семьях почти не было. Кто ж отважится их тащить на край света в неведомую жизнь.

Добротную домовитость, уют не часто встретишь в едва возникающих поселениях, в таком случае дом Алдымова был как раз редким исключением.

Дом небольшой в три комнаты с кухней, но все в нем было устроено по замыслу, со смыслом, и свидетельствовало о вкусе и привычках обитателей. Войдя в гостиную, вы сразу заметите портрет хозяйки. В широкой красного дерева раме, легкий, как цветная тень, превосходный акварельный рисунок запечатлел улыбающуюся Серафиму Прокофьевну среди диких гладиолусов, шпажника, ныне совершенно исчезнувшего. Винтеровские часы с боем в деревянном округлом футляре издавали глубокий мягкий звук, ненавязчиво напоминая о движении времени. Барометр, столь необходимый для получения сведений о переменчивой мурманской погоде, в прихотливом резном деревянном облачении был наряжен. Портреты родителей в черном овальном багете по стенам, несколько превосходных акварелей с видами тундры в разную пору, старая норвежская карта Северной Европы в раме, даже небольшой, рисованный

итальянским карандашом портрет Сталина, раскуривающего трубку, все свидетельствовало устойчивое, прочное жизнеустройство. Стенные часы с боем, полки с книгами, венские стулья, ковровая оттоманка, ореховая вращающаяся этажерка, чуть накренившаяся под тяжестью книг и пухлых папок, говорили о верности старой моде. А дамасской стали кинжал над оттоманкой, две фотографии со строительства железной дороги в Персии да литографированная панорама Стамбула свидетельствовали о том, что хозяину случалось бывать и в краях потеплее Кольских.

– Мне казалось, – не глядя на Серафиму Прокофьевну, заговорил Алдымов, – что я неплохо знаю о саамах... почти все... ну, не все, конечно, но, скажем больше, чем другие... Но то, что ты сказала... Эмбрион! Имеющий глаза – да видит. Природа с нами куда откровенней, чем мы думаем. Как же я-то не увидел?

– Потому что не акушер! – сказала со вздохом Серафима Прокофьевна. – Опять половина второго. У меня завтра с утра патронажный обход. Ты еще будешь сидеть?

– Завтра на Комитете Севера снова буду ставить вопрос об отгеснении саамов от Кольского залива. Если люди не умеют сопротивляться, не умеют себя защищать, это не значит, что с ними можно творить все, что угодно.

Большая комната служила и гостиной, и столовой, а частенько и рабочим кабинетом. В комнате поменьше спал сын.

Серафима Прокофьевна стелила постель.

– Они не индейцы. Так и мы не янки, пришедшие на добычу не весть откуда. И если у кого и учиться жить по-человечески, может быть, как раз у саамов! Когда-нибудь это, может быть, и поймут, да как бы ни было поздно. С утра иду в присутствие, – так Алдымов величал Облплан, – а после обеда в Комитет Севера. Еще разик цифирь проверю и ложусь.

Уже в ночной рубашке Серафима Прокофьевна у круглого зеркала на стене, с черепаховым гребнем в руке, трогала кончиками пальцев лучики морщин в уголках глаз.

Сзади подошел Алдымов, вынул шпильки, удерживавшие тугой узел на затылке, и окунулся лицом в ниспадающий поток.

Счастливая семья Алдымовых мало походила на другие счастливые молодые семьи.

Алексей Кириллович и Серафима Прокофьевна встретились поздно, в сорок лет.

У Серафимы Прокофьевны было два взрослых сына, люди уже вполне самостоятельные. Старший, Владимир, пошел по стопам своего отца, закончил военные училище, служил в Красной Армии, под Уссурийском. Младший, Сергей, поступил после школы на геофак в институте Покровского в Ленинграде. После окончания вуза выбрал распределение в Мурманск, успел здесь жениться, работал в метеослужбе Рыбфлота. Жил Сергей со своей женой Катей на улице Рыбачьей тоже в своем жилье, правда, денег хватило лишь на то, чтобы купить полдомика.

А вот Алексей Кириллович, исходивший землю от Персии до Мурманна, в семнадцатом году заглянувший даже в Константинополь, времени жениться до сорока лет не нашел.

Что нужно для счастья?

Свой дом?

Пожалуйста! Вот уже девять лет, как был у них свой дом в поселке Колонистов на улице Красной. Дом в три комнаты, с кухней, с сарайной пристройкой, в которую можно было ходить за дровами через крытое крыльцо, не выходя на заснеженный двор. А первых пять лет жили, как и многие, на запасных путях у порта, прямо в вагонах, в этих сараях на колесах, по недоразумению прозванных «теплушками». Переезд в барак уже казался счастьем, а то пеленать мальчишку приходилось в шалаше, устроенном из одеял, где, как в саамской веже, родители нагревали воздух своим дыханием.

Небольшой теплый уютный дом был выстроен на кредит, полученный от Потребсоюза.

Что еще для счастья нужно?

Работа.

На Алдымова, высокого, поджарого, с дыбящейся, словно от встречного ветра, шевелюрой, работа наваливалась со всех сторон.

Высокий лоб и пышную шевелюру не спрячешь, а вот округлая борода и аккуратные усы, казалось, были призваны чуть прикрыть лицо человека беззащитно приветливого.

Годы странствий, заставившие освоить множество профессий, делали его человеком незаменимым в немногочисленном еще Мурманском краю, да и в самом Мурманске, где голод на людей образованных, знающих дело, умеющих работать, был высок, как никогда.

Человеческая природа вырабатывает удивления достойное людское многообразие во все времена и на все случаи жизни. Вырабатывает оно и пилигримов. Алдымов, скорее всего, был из этой породы, из тех, кто всегда хочет заглянуть за горизонт.

Это вообще-то довольно отважные люди, покидающие родину без копейки денег в кармане для того, чтобы пройти тысячи миль по странам, о которых прежде едва слышали. Им интересен другой народ, отличный по языку, по обычаям, по укладу жизни... А бесстрашие пилигримов, быть может, заслуживает глубокого уважения, разве может человек, не вооруженный до зубов, не держащий в голове надежды на поживу, пуститься в путь, в неведомые земли, если он не уверен, что там встретит людей, конечно, не таких, как он, но способных его понять.

Хороший народ – пилигримы, но – не солидный! Разве можно себе представить солидного пилигрима? Иначе трудно объяснить, почему карьера осевшего на Мурмане Алдымова двигалась не то, чтобы вниз, но и не вверх. Едва появившись в Мурманске, в первые же годы он стал председателем Губплана, а по прошествии тринадцати лет оказался всего лишь директором краеведческого музея, впрочем, сохранив за собой почетное и весьма обременительное звание Уполномоченного комитета Севера при ВЦИК.

А солидные люди умели произрастать во все времена. Тот же Иоган Гансович Эйхфельд, на десять лет Алдымова моложе, занимался северным земледелием и вопросами мелиорации на Хибинской опытной сельхозстанции, стал директором станции. По указанию самого Кирова организовал полярный совхоз «Индустрия». В 1942 году получил Сталинскую премию, а уже в 1961 занял пост Председателя Президиума Верховного Совета Эстонской ССР, пробыл на этом посту три года, зато прожил до девяносто шести лет.

Люди одного времени, а какая разница!

Врожденная солидность изучена мало, но то, что она существует, никто не сомневается. Когда Иоган Гансович входил в какое-то помещение, все чувствовали появление чего-то весомого, значительного, важного, хотя он еще и не произнес даже «здрассе». А вот Алексей Кириллович входил и обращался к людям так, что не оставлял им времени пережить его появление.

И если Иоган Гансович, было дело, мелькнул и на посту директора Мурманского краеведческого музея, так только мелькнул. Для солидного ученого разве это пост? Впрочем, в немногочисленном в ту пору Мурманском краю Иоган Гансович заметил Алдымова и высказал одобрение его «богато одаренной натуре».

Да, Алдымов мог в кратчайший срок освоить, именно освоить новое дело, а не просто познакомиться с ним, что позволило ему уже к тридцати годам накопить множество умений и навыков, и геодезиста, и лингвиста, и этнографа, и статистика, овладеть премудростью ведения планового хозяйства в трудном регионе. И новые языки изучал с легкостью, и в том же саамском получал особое удовольствие, находя отличия в двух западных и четырех восточных диалектах.

Есть люди, умеющие небольшие свои знания и способности преподнести человечеству, как подарок. Алдымов же был беззаботно щедр и безоглядно увлечен реальным делом. Меньше всего думал, какое впечатление производит на окружающих, и в этом был даже похож на саама. Начальство сходилось на том, что Алдымов, может быть, и редкий специалист, а вот солидно-

сти не хватает. И организаторской хватки нет. Все, что может сделать сам, сам и делает, вместо того, чтобы нагрузить работой других.

И те, кто определял круг общения товарищей Кирова, Сталина, Ворошилова и Микояна, появившихся в этих краях, держали Алдымова на расстоянии.

Когда возникала острая необходимость, о нем вспоминали с завидной регулярностью. Ему даже любили давать ответственные поручения, потому что никогда не слышали от него о том, что дел невпроворот, выше головы, что он рвется на части, что у него не закончен перевод с немецкого, не готова обещанная статья, замерла и не двигается вперед книга...

Не сразу, но колхозное поветрие доползло и до заполярных тундр.

Как ни пытался Алдымов объяснить в Мурманске, что колхозы кочующим оленеводам не нужны, а всякое насилие вредно, горох логики отлетал от директивных твердынь. Его обстоятельные и доказательные докладные записки, как пущенные по воде плоские камешки, с легким плеском скакали с одного стола на другой, пока где-то не уходили под сукно, как в воду.

Вот с музыкой и речами устроенный колхоз «Красная тундра» благополучно развалился, не успев, по сути, и возникнуть. А потом не могли доискаться, на каком стойбище, на каком кочевье «руководство» и «актив» еще одного колхоза, «Красный оленевод». «Хватит плодить «бумажные» колхозы!» А в ответ слышал: «Тебе хорошо, ты беспартийный. А нам линию партии на коллективизацию надо проводить». Сверху крепко давили, и к пятилетнему плану строительства оленеводческих колхозов и Алексей Кириллович, скрепя сердце, руку приложил.

Зато с какой надеждой он готовил по указанию Окружкома материалы «о левацких перегибах при коллективизации оленеводческих и рыболовецких хозяйствах». Впрочем, явно недопонимая, какое же доверие ему оказано, а где доверие, там и возможности!.. Да на месте Алдымова любой солидный человек сумел бы и произвести впечатление, и запомниться. И Алдымов запомнился!

Заранее предупрежденный о том, что никаких выписок делать нельзя, расположившись за столом в кабинете завсельхозотделом Окружкома Елисеева, и, едва пробежав глазами заголовок и первую страницу, Алдымов вздохнул и покачал головой: «Собирались, наконец...» Погрузившись в чтение, он не заметил, как вздрогнул от услышанного хозяин кабинета. Указывать авторам «Постановления», указывать ЦК, когда это «Постановление» должно было появиться, долго или не долго оно готовилось, было не только за рамками партийной дисциплины, здесь это бросаться такими словечками считалось неприличием.

А тут еще, читая Постановление ЦК ВКП(б) в кабинете т. Елисеева, он достал из портфеля яблоко, обтер его вполне свежим носовым платком и, увидев устремленный на него почти перепуганный взгляд т. Елисеева, пояснил: «Не успел позавтракать...»

А Елисеев еще хотел его спросить, почему он не в партии, но, увидев, как тот, не прекращая чтения, полез в портфель, достал яблоко и стал грызть, понял, что спрашивать его не будет.

Прочитав Постановление два раза, Алексей Кириллович тут же прикинул, как извлечь из документа, где первая часть традиционно противоречила второй, максимум благ для едва не затоптанных на «путях колхозного строительства» саамов. Пусть и в несколько сокращенном и смягченном виде, но материалы, подготовленные Алдымовым, вошли в доклад присланного из Ленинграда нового первого секретаря Окружкома Абрама Израилевича Абрамова. О том, что его материал пригодился, Алексей Кириллович узнал из опубликованного в «Полярной правде» отчета о партконференции, сам он, как человек беспартийный, на конференцию приглашен не был....

Работа, с ясно осязаемой пользой для людей, что еще нужно для счастья?

А еще Алексею Кирилловичу, чтобы почувствовать себя счастливым, было достаточно услышать и записать наивную и трогательную сказку, хотя бы о «Семилетнем стрелке из лука», о колдуне Леушк-Кетьке.

Но особенно по душе ему пришлись обитатели и хранители заполярных недр, голенский саамский гном Чахколи с семейством, таким же голенским. Все народы украшают своих героев, наделяют нечеловеческой силой, а уж если красавица, так чтобы еще и во лбу звезда горела. У греков герои и боги ходили в неглиже, но там как-никак другие условия, всегда тепло, а чаще жарко, а здесь, на Севере, в заполярной стуже – герой голенский... Так он и кочевал из уст в уста, от поколения к поколению, не мерянное число столетий, и никто его не приодел. Алексей Кириллович мог вглядываться, вдумываться в эту сказку долгими ледяными дорогами в санях, запряженных оленями, летом на лодочных путях, так же долго, как саам мог петь песню о Мандяш-олене. Для Алдымова всякая сказка была колодезем, в который можно смотреть и смотреть, чтобы, в конце концов, увидеть, наверное, себя, но не свою физиономию, а свою суть и предназначение. Голенский Чахколи, бескорыстный и щедрый, не стяжавший ни себе, ни своей семейке даже тоборков, благодетель саамов, предупреждал, однако, что его богатства не беспредельны. И эти предостережения Алдымов на должности Председателя Губплана помнил и, в меру возможного, ими руководствовался, не прибегая, разумеется, к авторитету своего тайного советчика.

По душе ему пришлось и знакомство с людьми, не знающими ни вражды, ни зависти, ни злобы. И приезжавшие в Мурманск из тундры саамы знали, что, кроме Дома оленевода, у них есть дом и на улице Красной в поселке Колонистов.

Что еще нужно для счастья?

Алексею Кирилловичу – Серафима Прокофьевна Глицинская, по второму мужу Алдымова. Без нее ему едва ли довелось узнать, что такое счастье в его непредсказуемой полноте.

Акушерка мурманской горбольницы и уполномоченный Комитета Севера при ВЦИК по Мурманскому краю, служивший в 1924 году председателем Губплана, встретились 1 мая на праздничном митинге, на площади Ленина. С тех пор и не расставались. Ко дню исчезновения Серафимы Прокофьевны сынишке, названному от восторга немолодых родителей Светозаром, этому живому воплощению их счастья, уже исполнилось двенадцать.

2. На митинге

Площадь в трехстах метрах вверх от вокзала, устроенного на берегу залива, в этот праздничный день по снисхождению небес к пролетарским торжествам была почти сухая и старанием агитотдела Губкома щедро украшена цветными панно с изображением низвергнутой буржуазии и разгромленной Антанты. Множество плакатов призывали трудящихся земного шара, еще пребывающих в оковах капитала, следовать по пути трудящихся РСФСР, уже семь лет как эти оковы успешно скинувших. Флаги и плакаты прикрывали серую неприглядность заполярного города, собственно городом еще и не ставшего. Он пока еще лишь прорастал сквозь мерзлую каменистую землю, теряя облик стойбища для наезжавших сюда артелей, бригад, компаний и обществ искателей быстрого прироста. Пространство от берега залива до ближних сопкок и покрытого рыхлым серым льдом Семеновского озера, поднятого над городом, напоминало большую стройку.

Народ, густо заполнивший кремнистую площадь, вздымал над собой транспаранты и портреты вождей.

Одежда на митингующих являла подчас сочетания самые несообразные. Можно было подумать, глядя на этих людей, что они явились сюда после какого-то бедствия, надев на себя то, что уцелело, удалось спасти, выбегая из горящего, предположим, дома. Драповое пальто с каракулевыми воротником, и лопарские пимы с галошами. Порыжевшие высокие сапоги, пиджак на вате и суконная буденовка на голове. Валенки с галошами, и просто ноги в толстых носках, всунутые в галоши.

Поношенная армейская одежда без знаков различия, побывавшая если уж не в боях, то в нелегких походах, была представлена в пехотной, морской и реже кавалерийской версиях. Обладатели кожаных тужурок, даже изрядно потертых, или бекеша на меху, с овчинной выпушкой, со сборками на талии, смотрелись франтами. Одежда большинства участников митинга была по преимуществу каменного цвета, серого и черного. Глядя с высоты, можно было бы подумать, что площадь покрыта ожившими камнями, вдруг проснувшимися, и спросонья пребывавшими в каком-то зыбком непредсказуемом перемещении. Некоторое разнообразие в скудную палитру, словно цветы в тундре, вносили красные косынки на головах молодых девушек, белые пуховые и синие в горошек платки на женщинах постарше и редкие расписные праздничные шали в купеческом духе. Женщины помоложе, с короткой стрижкой, слухом и вниманием были устремлены к трибуне, в то время как женщины постарше с независимым видом лузгали семечки, перебрасывались между собой ничего не значащими словами, а сами неотрывно издали следили за своими мужиками, чтобы те, не дай бог, не напраздновались еще до прихода домой.

С разных концов поселения, из каких-то потаенных и дальних углов повыползли и стеклись у площади Ленина, привлеченные то ли духовой музыкой, то ли звонкоголосым маршем колонн, украшенных флагами, калек, нищие, какие-то самодвижущиеся кучи тряпья, в которых можно было разглядеть чумазую молодую рожу.

Тут же, не рискуя смешаться с праздничной толпой, что-то выглядывали заматеревшие в бродяжничестве странники, не умеющие толком объяснить, зачем они здесь и какой нуждой их занесло в эти неприветливые края. Не причастные к праздничной жизни, измученные, изможденные люди, как прибрежная пена вперемешку с кучей сырого мусора, болталась на краю митингующего половодья.

– Сегодня, когда мы проводим очередной смотр сил коммунистической армии Советских республик... – несло над площадью. – Мы прошли единственный, неслыханный в истории путь от мелких маленьких рабочих пропагандистских организаций до первой в мире пролетарской партии, взявшей в свои руки управление громаднейшим государством!..

Обтянутую кумачом трибуну украшали портреты вождей.

Поблескивал своим пенсне т. Троцкий; был благообразен, как домашний доктор, Алексей Иванович Рыков, недавно заменивший ушедшего Ленина на посту председателя Совнаркома; дыбился вдохновенной шевелюрой т. Зиновьев, и прятал улыбку в черные усы недавно возведенный в генсеки для налаживания оргработы так и не снявший еще свою кожаную фронттовую кепку т. Сталин.

Унизанная головами трибуна извергала речи, перемежающиеся лозунгами и призывами, не перекрывавшими гул толпы. Вдруг словно сам по себе взрывался «Варшавянкой» духовой оркестр, и так же внезапно обрывал песню. Где-то пытались петь, где-то слышался перебор гармошки, и все, кто не мог расслышать речи с трибуны, сами высказывались по текущему моменту, обращаясь к стоящим рядом, пусть и не очень знакомыми людьми. Еще не было той строгости и порядка, которые с годами станут отличительной чертой советских праздников. Еще в «Календаре коммуниста» мирно соседствовали Рождество и Кровавое воскресенье, праздник Пасхи и 1-е Мая.

В купели первотворения новая жизнь искала свое лицо.

До середины толпы, заполнившей площадь, с трибуны доносились лишь отдельные слова и обрывки фраз кричавших свои жаркие речи ораторов.

– ...Здесь, на этой холодной земле, где сложили свои кости лучшие из тех людей... мы заложим фундамент, заложим основы такой жизни, когда не будет ни бедных, ни богатых, когда человек с юных дней будет жить полной жизнью и дышать полной грудью! К великим задачам, к великим битвам... в царство труда поведет нас партия, которую создал величайший вождь угнетенных и обездоленных, незабвенный товарищ Ленин. Перед его светлой памятью мы клянемся, что установим на земле подлинный строй братства человечества...

Южный ветерок, вдруг вспоминая о важности происходящего, легкими порывами помогал разносить речи во все стороны.

Здесь же встречались старые знакомые.

– Сенька-то, Сенька, в гору пошел! Говорят, в отделе образования подотделом театра будешь заправлять!

– Вот так рождаются слухи, – возразил весь одетый в кожу, с наганом у пояса, Сенька. – В подотделе образования меня назначили инструктором по театру.

– Так нет же у нас театра!

– Будет, товарищ Николай, будет! А пока у меня есть мечта... Когда Ленина хоронили, помните, как все гудки гудели? Вот она – музыка революции. А мечта у меня – на заводских гудках сыграть «Интернационал»! Утром над городом, в шесть часов, всеми гудками: «Вставай, проклятьем заклеименный...» А!? А театр тоже будет. Пишу сейчас пьесу «Смерть пролетария».

– Ты бы уж лучше про смерть буржуя...

– Искусство, дорогой товарищ, должно прожигать. А смертью буржуя кого проймешь?

– А наган тебе зачем, инструктору по театру?

– Человек при власти должен быть всесторонне вооружен. Пролетарская культура молода, и мы будем ее защищать и взращивать. Товарищ Троцкий сказал, что в будущем средний человек поднимется до уровня Аристотеля, Гете, Маркса. А над этим кряжем будут подниматься новые вершины!

– Сенька, а ведь миллион Аристотелей да еще миллион Марксов, пожалуй, и много. Да еще Гете кормить? Кто работать-то будет?

– Ты это чего, в Троцком сомневаешься? – не нашел что ответить Сенька.

К площади, скандируя стихи, подошла команда молодых людей в юнгштурмовках.

папаша наш,
Женотдел —
мамаша наша!
Во!
И более ничего!»

– Пока что-то на Гете не похоже...

В разных концах площади, где слова выступавших тонули в людском говоре, не достигая ни слуха, ни ума, вспыхивали разговоры, жаркую пищу которым дали дискуссии, охватившие умы накануне Тринадцатого съезда РКП(б), первого съезда без Ленина.

– ...Буржуазная интеллигенция, сидящая в госаппарате, относится отрицательно ко всякому успеху, смотрит на всякий наш успех, как на последний, как на вспышку, после которой наступит, наконец-то, развал и крах... – несло над площадью.

И все ждали, что скажет съезд товарищу Троцкому, твердящему в своих предсъездовских выступлениях о перерождении партии, о том, что в партии сложились «два этажа», где руководящие кадры, несколько тысяч товарищей, решают, а вся остальная партийная масса покорно исполняет... И многие эту мысль разделяли, не считая себя троцкистами.

– Текущий момент требует ясности! – кричал с трибуны о наболевшем человек в зеленом френче с накладными карманами и круглых очках в черной оправе. – Разделение труда – да! Разделение власти – нет! Вот наша формулировка. И мы попросим некоторых товарищей, которые слишком часто суются к нам со словами «не компетентны», чтобы они забыли это слово. Партия и ее хозяйственный опыт будут расти вместе с ростом самого хозяйства...

– Кончай молотить! Лозгуны давай! – крикнул во все горло мужик в треухе, пробившийся к трибуне. Оратор, не прекращая свою пламенную речь, нашел глазами кричавшего и показал ему кулак.

– С лозгунами погодь, ты мысль пойми, – дернул крикнувшего за рукав жаждущий высказать заветную мысль нормировщик из судоремонтных мастерских, человек, умеющих умно говорить об умном. – Товарищ Троцкий исключительно констатирует недомогания в нашей партии. Это хорошо? Хорошо...

– Нет, плохо, – тут же вступил в разговор крепко подкованный замполит Рыбпорта. – Он для лечения предлагает средства поопасней самой болезни!

– Нет такой струи у товарища Троцкого, – убежденно сказал нормировщик, глядя не на собеседника, а в землю.

– Есть, есть у него такая струя, но мы ее не разделяем, мы ее отвергаем. Мы эту струю раздавим!

– Товарищ, но как же вы не видите, – для наглядности нормировщик указал ладонью себе под ноги, на расквашенную землю площади Ленина: – Загнивание верхушки есть? Есть. Аппаратный бюрократизм есть? Есть... Опасность перерождения есть? Есть.

– Мы это все слышали! Оппозиция дует в эту дуду, все эти сапроновы и дробнисы, осинские да преображенские. Это все левая фраза. Есть резолюция ЦК об оппозиции. И точка! Мы совершим двадцать ошибок и двадцать раз их исправим, и это лучше, чем ревизовать вопрос о диктатуре партии вообще!..

– Вы слышали, Алексей Кириллович? Вот вам и «разделение труда», они наломают дров, а мы, кому же еще? будем двадцать раз исправлять их ошибки, – обратился к молчавшему Алдымову Рыбин из общего отдела Губисполкома. В голосе Рыбина не случайно прозвучала личная обида, еще бы, именно его, не имеющего своего участка в исполкоме, бросали затыкать дыры, развязывать «узлы» и исправлять чужие ошибки.

– Истина не дитя толпы, на площадях и на митингах не рождается. А цена некомпетентности, увы, непредсказуемо высока, – сказал Алдымов. – Деятельность при неполноценном знании подслеповата...

– Слепа! «Ходяй во тьме не весть, камо грядет!» С праздником! – подошел предкомхоза Алябьев, человек повоевавший, о чем свидетельствовал когда-то, надо думать, наскоро зашитый шрам от левого уха к подбородку. – Верно говоришь, Раис! «Разделение труда...» Они дают себе кредит на двадцать ошибок. У них ошибки какие? Решения. Постановления. Указания. А работу выполняем мы, стало быть, и все их и двадцать, и сорок ошибок исправлять нам. Вот такое разделение труда. Верно, Рыбин?

– Слава богу, хоть кто-то понимает, – облегченно вздохнул Рыбин.

– А вы бы как хотели? – спросил Алдымов.

– А мы бы хотели, чтобы каждый баран висел за свои ноги, – не дав ответить Алябьеву, вставил Давлетшин. – Не экономисты, а фантазеры на хозяйственные темы.

...Алексей Кириллович сначала увидел русую косу, едва прикрытую сдвинутой к затылку черной фетровой шляпкой с короткими полями. Коса была свита в канат, плотным узлом уложенный на затылке и удерживаемый крупными черными шпильками. Песцовый воротник... Высокие черные ботинки на шнуровке... Почему-то дыхание сбилось... На какую-то долю секунды в дерзком воображении он выдернул все шпильки, и волосы, как вода с Чагойского водопада, сплошным потоком упали вниз. Она оглянулась, словно почувствовала его дерзкий взгляд.

Митинг кипел.

Начинали спор двое, подключался третий, четвертый. Любой из стоявших поблизости был готов и слушать и говорить. Похоже, что на митинге говорящих было явно больше, чем слушающих. А речь шла о делах не частных, речь шла о стране, выбирающей новый путь. И люди, объявленные хозяевами этой страны и таковыми себя признававшие, так и прожили с этим чувством, укоренившимся в совестливых и доверчивых душах.

– Алексей Кириллович, – обратился Свиристенин из земельного отдела к Алдымову, ставшему вдруг безучастным ко всему происходящему, – ну чем вам не Гайд-Парк!

– Что вы сказали? – переспросил Алдымов, не теряя из виду шляпку и крепко уложенную под ней косу.

– Говорю, на Гайд-Парк похоже...

– Да, действительно, вы правы, – механически проговорил Алексей Кириллович. – Кажется, там хороший газон...

Посмотрел под ноги на расквашенную сотнями ног смесь воды, грязи и мелких камней и отступил, выбирая местечко чуть посуше.

– Троицкий глядит вперед! – рядом горячился паренек в солдатских ботинках и галифе, заправленных в носки разной масти, явно не парные... – Новую экономическую политику нужно прямо сейчас заменить новейшей!

– Воны що, з глузду зыхав? – мужик в лоснящемся кожухе адресовался к неведомым управителям. – Два року нэпу! Мужик тильки-тильки себэ людиной почуяв. Все б им новейше да новейше... Ты до ума доведи що почав. Побачь, що зробили. Чи так воно, чи не так. Мабуть щесь треба краще зробить... А то все новийше да новийше...

– Алдымов, ты-то мне и нужен. – Подошла, как проломилась сквозь толпу, громоздкая женщина в кожаной кепке на коротко стриженной голове. – Записываю в комиссию по борьбе с самогоном.

– Не спеши, не спеши, Анфиса. Я в ячейке содействия РКИ, в ревизионной комиссии, комиссии по ликвидации неграмотности, в делегатском собрании... – пытался урезонить даму из женотдела Алексей Кириллович.

– В точку, Алдымов! Надо замкнуть цепь между делегатским собранием и Комиссией по самогону.

– Хромаешь, Анфиса, на правую ногу хромаешь! – Пришел на помощь Рыбин из Губисполкома. – В Комиссию по самогону, в первую очередь, надо привлекать пролетарский элемент! «Во! И боле ничего!»

– Верно! – тут же согласилась женщина в кепке. – Ты же, Алдымов, не пьющий? Что ты в самогоне понимаешь? Вычеркиваю. – Черкнула и заткнула карандаш с металлическим наконечником над ухом под кепку и, не выпуская из рук измочаленного блокнота, ринулась, как сейнер за треской, на отлов «пролетарского элемента».

В другом месте тоже поминали Троцкого.

– ...Троцкий ничего не говорит об иностранном капитале. Без иностранного капитала, это я вам, как промышленный отдел говорю, мы промышленность не поднимем.

– Что вы все Троцкий, да Троцкий, поверьте мне, скоро вперед выйдет Иван Васильевич Сталин, вот кто еще своего слова не сказал...

– А что он скажет? Да ничего он не скажет, будет жевать свою «национальную политику» да «орграбому».

– Не говорите. Попомните мое слово! Иван Васильевич – это фигура!

– А разве он Иван? Врешь, мужик, имя у него точно не Иван, какое-то библейское...

Он оглянулась. Сердце Алдымова забилося часто и тревожно, как только он увидел ее лицо, серые блестящие глаза с зеленой искрой, под полукружьем темных бровей, и этот ритм сердца был ему еще не знаком, ровно и покойно.

Она улыбалась, а взгляд, как показалось Алдымову, был не веселым. Веки на внешних уголках глаз были чуть приспущены, отчего казалось, что глаза вот-вот приоткроются, прищурятся, чтобы видеть лучше, или закроются, чтобы не видеть вовсе. Эта приспущенная завеса на глазах невольно придавало ее лицу чуть загадочное выражение затаенности, быть может, тайной печали. Даже когда она смеялась и лицо преображала открытая живая улыбка, глаза, казалось, видели что-то такое, что не давало повода к веселью.

Ровным счетом ничего не зная о ней, даже замужем она или нет, он почувствовал всем своим существом в этой немолодой женщине человека, излучавшего покойную уверенность подлинной женственности. Ее движения были исполнены непринужденной грации, а неторопливая речь, которой он даже не слышал, а только видел движение губ, и тихая улыбка, сообщали всему ее обличью необыкновенное обаяние подлинной женственности.

Рядом жарко обсуждали «платформу Ларина», а Алексе́й Кириллович словно оглох.

«Откуда она здесь?» – спрашивал себя Алдымов. Он бы не удивился, если бы вдруг она исчезла. Он никогда не задавался вопросом, в чем сущность женственности, и сейчас не умом, не словами, а самым сбившимся дыханием говорил себе, что это дарованное немногим избранныцам право сообщить миру те неповторимые черты, какие не в силах породить сама природа.

Ему показалось вдруг странным, что для людского многолюдства она совершенно невидима, никто не оглядывается на нее, не пытается заговорить.

Росту она была выше среднего, что при склонности к полноте сообщало фигуре в приталенном жакете гармоничную рельефность линий. Глаза серые. Волосы русые, нос прямой, пальцы тонкие, что было видно и сквозь черные лайковые перчатки.

Алексей Кириллович тут же забыл о своем желании возразить стоявшему рядом с ним Свиристенину из земельного отдела, защищавшему «платформу Ларина».

– Вы тут в смысле пораженческого настроения выступать не надо, – уверенно сыпал Свиристенин уже ничего не слышащему Алдымову. – Если Троцкий говорит о ножницах, в смысле их расширения, то это еще ничего не значит. Вы же Губплан, так я вам говорю, что в плановых организациях, товарищ Алдымов, запрашиваются еще более широкие ножницы, чем указал товарищ Троцкий...

– А что же товарищ Троцкий предлагает срезать? – наконец почти механически произнес Алдымов, забыв, что ножницами товарищ Троцкий лишь обозначал расхождение и ничего резать не предлагал. Не до ножниц ему было, горел желанием заговорить с обладательницей тугого узла рысых волос.

– А тот же Рабкрин! – азартно сказал Свиристенин, и, наконец, увидев, куда направлен взгляд его собеседника, дружески пояснил: – По-моему это горбольница.

– Вы – срезать, а Ленин ставил Рабкрин во главу угла... – все так же, по инерции продолжал разговор Алдымов.

– Читал я Ленина о Рабкрине... Ну и что? Видел я этот Рабкрин. Что они находят? Ничего они не находят. Нужно создать щупальца другого рода...

Слушая жаркий разговор за своей спиной, Серафима Прокофьевна что-то шепнула приятельнице, которую держала под руку, обернулась, снова встретилась глазами с Алдымовым, заметила лестное для женского самолюбия смущение и с нарочитой серьезностью спросила:

– А что вы скажете о позиции Смилги?

Алдымов вдруг почувствовал себя совершенным студентом, вынужденным счастливый билет. Он не знал, как заговорить, не будучи даме представленным, и вдруг такая удача.

– Если мы хотим двигать мелкую промышленность, а в нашей ситуации это жизненно необходимо... – Алдымов смотрел в глаза женщине, интересующейся позицией Смилги, и вся праздничная бутафория первомайской площади увяла от этого света. Алдымов даже испугался, что интерес к Смилге у дамы неглубокий и может пропасть, поэтому поспешил с разъяснением. – Смилгу пугает то, что мелкая промышленность уходит из рук государства. Так и слава богу, что уходит. Зачем государству тащить этот обоз мелочевки! Впрочем, куда же она уходит? Она остается, во-первых, в виде налогов, во-вторых, это рост товарной массы. А Смилга что предлагает? Давайте ее подчиним государству. А потом поглотим. Поглотить – это же тормоз получается... Простите, как вас зовут? Я не представился. Алдымов. Губплан.

– Странное имя, – улыбнулась дама.

– Почему странное? – не понял Алдымов.

– Алдымов. Губплан? – повторила женщина.

– Да, действительно... Простите... – «Что со мной? Я, кажется, смешон», удивился Алдымов, на секунду увидев себя со стороны. – Мы уже становимся частью нашей работы. А зовут меня Алексей Кириллович.

– Серафима Прокофьевна. С праздником вас, Алексей Кириллович.

Алдымов приложил руку к груди и с легким поклоном ответил: «И вас с праздником...»

Так и начался праздник, которому отпущено было тринадцать лет, шесть месяцев и двадцать дней.

Когда в первый же день знакомства Алдымов узнал о том, что Серафима Прокофьевна работает акушеркой, он принял эту весть как свидетельство верности его чувств, его ощущений... Именно такие руки, именно такая улыбка, именно такое создание должно первым принимать в мир входящего, еще беспомощного и беззащитного нового жителя Земли, будущее человечества.

Он сказал ей об этом.

Она рассмеялась:

– Иногда принимают не руки, а щипцы. Только знать вам это не положено.

И Алдымов тут же согласился, рождение – чудо и тайна, и не профанам об этом рассуждать.

.....

Оба были не молоды, и уже через три месяца после знакомства, в конце лета, Алексей Кириллович сделал Серафиме Прокофьевне предложение.

– Я и не знала, что вы старьевщик, – рассмеялась Серафима Прокофьевна.

– Я не старьевщик, я – антиквар! – объявил Алексей Кириллович.

– Удивляюсь, как вы до сих пор никого не нашли?

– Не там искал, или не то...

.....

– Сорок лет? Ты хорошо сохранился.

– Некогда было стареть.

– Ты чему смеешься?

– Боюсь быть счастливым. Говорят, счастье – губительно...

3. Акт на одной трети листочка

Составители исторических романов нынче находятся в положении значительно лучше, чем их предшественники. Каждый, в меру своего любопытства, может воспользоваться примерами и отдаленными, и не столь отдаленными, с тем, чтобы не повторять ошибки, замеченные даже у самых наших авторитетных учителей.

Лучше всего примеры черпать в трагедиях.

Так, к примеру, Александр Сергеевич Пушкин поселил в известной трагедии своего дальнего родственника в Москву при жизни Бориса Годунова. А по правде-то говоря, не было в ту пору пушкинского пращура в Москве. Если уж все-таки по правде, то появился боярин Пушкин в Москве лишь после странной, что ни говори, смерти законного царя и по поручению первого, так и оставшегося не до конца разгаданного, Самозванца. То, что боярин был гоним у Лжедмитрия, Пушкину, похоже, не льстило, потому и забыто. А в действительности внеочередной отважный претендент на русский престол, чей реальный портрет не разглядеть под многими слоями изображений, созданных историческими портретистами, доверил именно боярину Пушкину доставить его письмо к московскому народу. Никто от такой неточности не пострадал, стало быть, не на всякую правду спрос, и не во всяком месте.

Вот и еще раньше Уильям Шекспир, и тоже в трагедии, рассказывает о последних двух годах царствования малоизвестного Ричарда II. И как же не заметил великий сочинитель, что супруга короля Ричарда II, присутствующая у Шекспира на сцене, ко времени предъявленных публике событий, уже умерла, и, чтобы утешиться, вдовец даже поспешил обручиться с малолетней французской принцессой Изабеллой, дав согласие ждать свадьбы до ее совершеннолетия. Вот и Шекспир нарушил историческую правду, и снова от этого ни кто не пострадал, а зрители даже выиграли.

Авторитетные люди не настаивают на соблюдении строгой исторической буквы в сочинениях свободных жанров, но отклонение от исторической правды непременно рекомендуют возмещать чем-нибудь фантастическим. Тем же, кому не досталось смелости и умения образцовых выдумщиков, едва ли следует полагаться на свои способности к фантазиям, и потому все-таки лучше держаться исторической правды, тем более, что едва ли самые смелые вымыслы превзойдут невозможность жизни.

Саамы умели писать вчерашним снегом по летучему камню, мы так не умеем, у нас пишут проще.

«27 октября» 1938 г. Мною, Комендантом УНКВД ЛО ст. лейтенантом госбезопасности Поликарповым А.Р. на основании предписания за № 051 от «21» октября 1938 года приведен в исполнение приговор Особой Тройки НКВД ЛО в отношении АЛДЫМОВА Алексея Кирилловича.

Вышеуказанный осужденный РАССТРЕЛЯН.

Дата: 28 октября 1938 г.

№ 45/708.

Комендант УНКВД ЛО ст. лейтенант Поликарпов».

27-го исполнил, 28-го оформил документ.

Поскольку на один машинописный лист вмещались аккуратно три «Акта», то документ, подтверждающий завершение жизненного пути Алексея Кирилловича, уместился на клочке в треть листа, впрочем, даже еще место осталось. Немного, но осталось. «Акт» исполнили на простой слегка шероховатой бумаге, что говорит и о некоторой простоте ведения дел, в конце концов, не в бумаге суть, а в подписи.

О старшем лейтенанте Поликарпове, Аркадии Романовиче, исполнившим приговор в отношении Алексея Кирилловича Алдымова, известно немного.

Надо думать, человек он был аккуратный и к выполнению своих обязанностей относился с надлежащей тщательностью, готовился загодя. Текст «Акта» заготовлен накануне, напечатан на машинке с черной лентой, а даты «27 октября», «28 октября» и «№ 45/708» впечатаны цветными знаками на другой машинке, оснащенной машинописной лентой голубого цвета. Надо еще заметить, что после первой даты текст «Акта» начинается с заглавной буквы, хотя красной строки нет: «Мною, Комендантом и т. д.»... Впрочем, можно увидеть и вовсе странные документы, подписанные не дрогнувшей рукой старшего лейтенанта Поликарпова: «...на основании предписания от «14» августа... приведен в исполнение «11» августа...» Какая уж тут аккуратность? Тут уже недогляд и тех, кто полученные от старшего лейтенанта рапортчики собирал и направлял в Ленинградский областной комитет ВКП(б) т. Кузнецову А.А. Такой был порядок. Но люди рассуждали здраво. Дело сделано, расписка получена, куда надо представлена, а «11-го» сделано, или «14-го», какая, в сущности, разница, во вторник или в пятницу. Никому от этого ни тепло, ни холодно.

Был старший лейтенант Аркадий Романович человеком не молодым, уже близко к пятидесяти, крепко пьющим и несколько глуховатым, особенно на правое ухо. Начальство смотрело на отдельные недостатки коменданта УНКВД сквозь пальцы, снисходительно, люди хорошо понимали специфику работы. А еще совсем не молодой старший лейтенант Аркадий Романович был не по возрасту капризен. Постоянно требовал для своей работы немецкие «вальтеры», наш «ТТ» два-три месяца и выходил из строя, перекося патрона при подаче в патронник, осечки, это раздражало подвального воина. Дома держал кошку, многое ей позволял, и она отвечала ему взаимностью.

Кого-то из людей несведущих может несколько смутить то обстоятельство, что звание, как бы воинское звание, старший лейтенант, не сочетается с такой важной и большой ответственности должностью, как «Комендант НКВД» Ленинградского округа, в ведение которого до 1938 году входили территории, образовавшие впоследствии Мурманскую область и целый Карельский край.

Скромное звание не смущало Коменданта.

Известно, к примеру, что, по сути дела, министр, с хозяйством побольше, чем у многих прочих министров, всем известный Орлов А. Г., начальник Главспецстроя НКВД, человек, ведущий силами спецконтингента множество строек от побережья Охотского моря до побережья Баренцева моря, отвечающий за исполнение гигантского объема работ невероятной сложности и важности, пребывал в необычном звании всего лишь старшего майора, правда, госбезопасности. Звание званием, а в петлице у майора был ромб! А ромб давался тогда, когда кончались шпалы. Но у капитана госбезопасности было четыре шпалы, то же что у армейского полковника. Ромб в петлице в армии носил не майор, а комбриг, целый генерал-майор, а в органах другой счет. Собственно, ничего особенно нового здесь придумано не было. И в прежние времена поручик в гвардии, тем более лейб-гвардии, совсем не то что армейский поручик, а уж любой флигель-аксельбант мог и генералу указать место, не говоря о бригадирах и полковниках.

Так может ли хотя бы и Комендант, пусть даже Ленинградского округа, имея на фуражке традиционный для определенного рода войск в России синий околыш, сетовать на недостаток шпал в петлицах?

Нет, конечно.

Больше о пожилом старшем лейтенанте Поликарпове А. Р. сказать нечего, одно слово, добросовестный исполнитель.

Да, и уж самое последнее. В июне месяце 1939 года старший лейтенант Поликарпов застрелился, оставив предсмертную записку. Что уж он там написал, так и осталось для мно-

гих неизвестным, потому как секретарь Ленинградского областного комитета ВКП(б) тов. Кузнецов, курировавший органы, когда получил материалы по загадочной кончине Поликарпова А.Р., записку прочитал, порвал и выкинул. Тем немногим, кто эту записку все-таки прочитал, тоже хотелось ее порвать или сжечь, но то ли смелости не хватило, то ли власти.

Понять поступок Аркадия Романовича было трудно, вроде бы тяжелое, опасное время миновало. Прошло уже два года, как сеявший страх Николай Иванович Ежов стал мирным Наркомом водного хозяйства, а заменил его на высоком посту Лаврентий Павлович Берия, начавший свою деятельность с пересмотра некоторых приговоров, необоснованно вынесенных в пору ежовщины. А еще годом раньше расстреляли Начальника УНКВД ЛО комиссара госбезопасности I ранга Леонида Михайловича Заковского и его заместителя Натана Евновича Шапиро-Дейховского, награжденных в июне 1937 года орденами Ленина. Прокурора Ленобласти, грозного Бориса Позерна, в 1937 не наградили, но расстреляли вместе с награжденными.

К старшему лейтенанту Поликарпову у руководства претензий не было, хотя Заковского, Шапиро-Дейховского и Позерна старшему лейтенанту Поликарпову не доверили, возили в Москву. Неужели уязвленное самолюбие заставило Коменданта вынести себе приговор и привести в исполнение? Трудно сказать. Записка могла бы пролить свет, но, увы, уже не прольет.

Кошка, которой так много позволял Поликарпов и которая, в свою очередь, позволяла даже подбрасывать ее в воздух и ловить, сразу после скромных похорон хозяина куда-то исчезла. Может, кто и умыкнул, уж больно красивая, белая, но не как медицинский халат, а с перламутровым отливом, без единого пятнышка, как волосы у норвежской ведьмы.

4. Лапландия

Саамский край расположен к востоку от Кольского залива и озера Имандра в бывшем Кольском, а до этого бывшем Александровском уезде бывшей Архангельской губернии.

Бывшие, бывшие, бывшие... Много повидала эта земля, и многое в своей памяти сохранила. И не в преданьях населявших эти места племен, а в самом своем естестве первозданных здешних обитателей. Лапландский таракан, которого вы встретите в Ловозерских тундрах, свидетель выхода позвоночных из воды на сушу. Зубастую бабочку нынче тоже нигде на земле не встретите, только здесь. Может быть, и выжила со времен мелового периода, потому что зубаста. Впрочем, не факт. Саблезубые тигры, уж на что были зубасты, а сгнули при всех своих вселяющих ужас клыках. А здесь выжила и бабочка, и ее доисторические современники, та же гагара, только потому, что Кольская земля, восточный ломоть финно-скандинавского щита, никогда не уходила под воду, даже во времена самых лютых океанских трансгрессий. Говорят, это самая древняя на земле суша. Ну что ж, похоже, очень на то похоже. Вот и саамы самые давние жители Европы, оттесненные более предприимчивыми племенами в эти суровые и пустынные места.

Менялись времена, менялась власть, менялись имена народов, претендующих на эту неприветливую, трудную для жизни землю, даже не столько на самую землю, как на право собирать дань с миролюбивых обитателей этой земли, никого не задиравших, ни на чье добро не зарившихся, разводивших оленей да разнообразивших свою жизнь охотничьим и рыбным промыслом. Не менялись саамы, ну, разве что по названию. Долгое время именовались они лопарями, потом прозвище, данное им финнами, сменили на достойное имя. Откуда пошла эта кличка – лопари? Лоап-Лооп по-фински край, конец земли. А были времена, когда саамы не были лопарями, не селились на самом северном кончике земли и все равно именовались крайними. Судя по сохранившимся названиям, была в городе Орешек, по новгородской переписной книге, Лопская часть и погост Лопский-Егорьевский. Осталась память о них и в Холмогорских краях. Селились по всей Финляндии, населяли земли от Онеги и Ладоги до Кемского уезда и Кандалакшской губы.

Кто их теснил? Чудь? Финны? Карелы? Новгородцы?

Да все понемногу.

Вот и оказались миролюбивые и непритязательные кочевники поневоле прижатыми к самой кромке земли. И хотя саамы едва ли не самые давние обитатели самой древней на Земле суши, нет у них преданий о совсем уже непроглядном прошлом. Не украшают себя подвигами былых времен, не придумывают себе героических предков, зато детей не бьют. В Англии порку в школах отменили только в XX веке, да и то в конце семидесятых годов. Да что там дети! Помните, как Сомс Форсайт кричал своей жене Ирэн: «Хорошая трепка, это единственное, что может тебя образумить!» Так, видно, было заведено у джентльменов, благородных торговцев и мореплавателей, а у саамов вообще даже никогда детей не били. А уж о том, чтобы ударить женщину, даже запрета такого не было, поскольку такое могло прийти в голову лишь представителям более развитых народов. «Да убоится жена мужа своего...», вразумляла старая мудрость. «Бьет – значит любит», – вещали уж самые мудрые. А саамские жены своих мужей не боялись, а любили, и мужья им за любовь платили верностью.

Кто знает, ни поэтому ли саамы на редкость мирно живут между собой?

Ни поэтому ли и к пришельцам приветливы, снисходительны, но осторожны, зная научены долгим горьким опытом.

Саамам не завидуют, а ведь как посмотреть.

Как живет мужик? Грязная, тесная, зловонная изба, где еще и теленка держат, это что, лучше саамской тупы? Лапти да онучи лучше таборков? Дырявый зипун, продувной кафта-

нишка да истертый полушубок лучше мехового наряда саама? А наряд двойной, нижнее – мехом внутрь, верхнее мехом наружу. А пища? Мужик ест мясо по большим праздникам, а у саама и мясо и рыба, те же куропатки, обычная, повседневная пища, вкусно, питательно, выгодно, и ягод полно на любой вкус, вот тебе и витамин.

Полярную тундру обычно представляют местом ровным, этакой пустыней, раскинувшей свои топи, болота и чахлый лес на громадных пространствах, вздыбленных кое-где вараками, одинокими невысокими горами, одетыми в лесные шубы. Есть и такие места поближе к берегу океана, но Скандинавские горные хребты хорошо вдвинулись в Кольскую землю, вознеся на восток от Имандры тысячеметровые снежные вершины Хибинских гор, а еще дальше на северо-восток изрядный горный массив, поименованный Ловозерской тундрой.

Ловозерская тундра, разумеется, не так знаменита, как Мончетундра, но уже с 1478 года стала известна, как местность, хотя и отдаленная, но населенная добропорядочными охотниками и рыболовами. Саамы, они же лопари, исправно пополняли данью со своих угодий всегда прожорливую, хотя и неразличимую за далью, казну Москвы. Восемнадцать песцов в год дань не обременительная, а песцы шли хорошо, по десять денег. Но это при государе Иване III, первом Государе всея Руси, правителе мудром и дальновидном. Заплатив годовую подать, саамы жили вольно и хвалились заглянувшему в их края царевым приказным, дескать, никому мы ничего не должны и тягостей над собой не знаем. Было время, когда после лопарских челобитных им дозволили самим доставлять дань ко двору московского царя. Не все ли царю равно, кто ему дань привез? Ему-то без разницы, а челядь-то как же с таким делом смирится, это сколько же добра мимо ухватистых рук потекло! И кто первым возмутился? Патриарший двор! Бог им судья.

Нет, не для того на Москве правители сидят, чтобы людишки, под их благодетельную высокую руку принятые, жили не в натяг, да еще и в свое удовольствие, будь это хоть и удовольствия-то самые бесхитростные. Уже великий государь Иван Васильевич Грозный драл со своих подданных налогу в четыре раза больше, чем в те же годы его коллега на английском престоле, Георг IV. А у английского-то Георга народ жил в целом побогаче и в добром климате, что не так разорительно в отношении одежды, усиленного питания и отопления.

То-то государи наши, выезжавшие для умственных и прочих прохлад в европейские земли, удивлялись, почему там мужики живут полутче наших, и крыши у них на избах не соломенные, да не дерном крытые, лаптей не носят и с голоду не пухнут. И вернувшись, для восполнения немалых командировочных расходов и удобства размышлений о бедных своих подданных накидывали на мужичков подать еще повыше прежней.

Уже при первом взошедшем на многострадальный российский престол Романове лопарю было положено сдать в казну аж 15 рублей 82 копейки. Что за деньги? В пересчете, для удобства, на «полярную валюту», на тех же песцов, выходит 316 штук с мужика. Против восемнадцати при Иване III, это в семнадцать и пять десятых раза больше. А климат за это время не подобрел, и зверя больше не стало, и не разбогатели за сто лет лопари в семнадцать и пять десятых раза, да и в два раза не разбогатели, по простоте своей, считая, что не в богатстве счастье.

Поизмывались над лопаришками и двигатели прогресса, купцы. Проедут по промыслам, сговорятся с лопарями, что те привезут им семгу по 25–30 копеек пуд. Те везут. Привезли. А купчина передумал, может дать только по десять копеек, а то и по пять за пуд. Плачут люди, воют, молят, а назад рыбу не повезешь, испортится. Выли под окнами благодетеля по двадцать по тридцать человек, а тот еще у окошечка сядет, чтобы видели, как он кушает чай во славу первоначального накопления... Чем не жизнь!

Поди, разгляди за две-то с половиной тысячи верст Лапландские земли, а на них еще погост Ловозеро, стоящий над Ловозером, где и домов-то нет, а всего семь веж, саамских

чумов, да пяток вросших в землю бревенчатых тупов, в коих обитают двадцать душ мужского пола, женщин в счет не брали, как и деток, по причине нестойкости последних к жизни, только за барышом, как говорится, и семь верст не околица.

А уж царевы мытари, тем сам Бог велел, и смотрели хорошо и брали чисто.

За две-то с половиной тысячи минувших лет в этих местах перебивало множество разного народа. Кто-то оставил по себе только недобрую память, а кто, к примеру, затейливые следы в виде выложенных из камня лабиринтов, похожих на те, что еще сохранились на острове Готланд, на Соловецких островах и на Большом Оленьем в Кандалакшском заливе. Неплохо сохранились сейды, камни, ставшие местом обитания невидимого пока что духа, подлинного хозяина и покровителя прилегающей территории. Живы еще и наскальные рисунки, подлинное украшение стоянок людей, обитавших в этих краях в незапамятной древности, именуемой неолитом. Известно, что сейдам поклоняются, что сейды это бесспорно священные камни, рядом с которыми не следовало ни браниться, ни шутить. Спросите саама, что такое – сейд? Если удастся вызвать доверие, то узнаете, что сейд это окаменевший человек. И тишина рядом с сейдом нужна для того, чтобы подумать хорошенько, отчего окаменел человек? Может быть, от испуга, может быть от чрезмерного гнева, от страха перед врагами, от безысходности, словом, не справился человек с жизнью, и стал камнем. А это урок, здесь есть над чем задуматься.

Сейдов много, а вот Бабушка одна, так и стоит она, сгорбившись, на высоком скалистом берегу озера Акиявр, «акка» и значит – бабушка. История ее известна и в высшей степени поучительна. А дело начиналось просто. Заспорила жена с мужем, эка дело! Это у нас. У саамов событие чрезвычайное. Оба стоят на своем. Бывает. Только муж, забыв себя, замахнулся, чтобы ударить жену. Нет, такого у саамов быть не должно. Подхватила жена дочку и побежала к отцу на Воронье. Путь неблизкий, села отдохнуть и окаменела. Муж жены лишился, жена в камень обратилась, а отчего? Оба не правы. Так жить нельзя. Чтут Бабушку-страдалицу, несут ей олени мозговые косточки, лакомство, несут рога диких оленей, даже деньги. Помогает Акка, и в охоте, и в рыбном промысле, даже в торговле, творя добро, какого при жизни сделать не успела.

Немало загадок, неразрешимых для просвещенного человека, в жизни саамов. Ну, как им удастся, не сговариваясь, не располагая никакими средствами оповещения, съезжаться на сход в одно время и к нужному месту. А их способность, не всех конечно, видеть человека каким-то там внутренним зрением насквозь, и даже видеть то, что происходит за полем, так сказать, физического зрения? У нас только святые старцы да колдуны бывают на такое способны. Кстати, Кольские шаманы, нойды, издавна сльвут самыми сильными чародеями. При этом саамские шаманы – обычные люди, ничем особо не отличающиеся от соплеменников. Обходятся без внешних эффектов. Они не молятся, не постятся, не заклинают духов, имеют жен и детей, но кроме этого умеют то, что другим не дано. Когда пришельцам пришла охота крестить саамов, нойды этой затее не препятствовали, чем больше богов будет заботиться о саамах, тем лучше. Но сами нойды не крестились и в церковь не ходили. Есть у саамов и вполне действенное колдовство, доступное многим. Берете рога диких оленей, чуэрвь-гарт, выносите в ваши охотничьи угодья, ставите в две параллельных ряда, не вплотную, можно пошире, получится, будто олени бегут друг за дружкой. Дело верное, успех и при охоте и даже при нападении недругов, коли такие вдруг объявятся, практически гарантирован. Если вы владеете чуэрвь-гарт, можете управлять, к примеру, водными пространствами, пошевелил должным образом рогами, пожалуйста, на море буря, чужак не подойдет.

А как поют саамы? Знатоки обращали внимание, прежде всего, на непомерную вибрацию, с которой они выпевают каждую ноту. И вибрация эта настолько сильна, что порой трудно уловить определенный тон: звук все время как бы качается вверх и вниз, задевая соседние

полутоны. И еще, постоянная игра грудных и горловых звуков, кажется, что поющий все время срывается... Но это надо слышать, на пальцах не покажешь.

А вот что надо видеть, так это саамские пирамиды. Увидеть их трудно, Алдымов только мечтал добраться до этих загадочных и казавшихся мифическими сооружений, о которых знал по скудным преданиям. Увидеть их ему так и не довелось. А первая экспедиция в поисках саамских пирамид была снаряжена уже в 1921 году, но тайно. Возглавил экспедицию в самые недоступные места Кольского полуострова знаменитый профессор, заведующий лабораторией нейроэнергетики Всесоюзного института экспериментальной медицины, чья фамилия не подлежала разглашению. И само путешествие, и все проведенные исследования этого похода проходили, кто бы мог подумать, под патронажем ОГПУ. Потому и результаты экспедиции оказались за семью печатями.

И лишь в конце века минувшего приоткрылась тайна загадочных сооружений, пребывающих среди многочисленных озер в малодоступных дебрях Кольской тундры. Однако вернувшийся из экспедиции Владимир Демин, ученый глубокий и самоотверженный, знаток Севера, географ, историк и философ, скоропостижно умер. Помнится, что в свое время тем, кто проник в египетские пирамиды, тоже не поздоровилось. Но весть об антропогенном происхождении заполярных пирамид вызвала новую экспедицию, определившую, что возраст рукотворных Кольских пирамид более 9 000 лет! Египетские моложе почти на 5000 лет. Участники похода рассказывали, как трудно было найти проводника, без которого не отыскать сооружения, поросшие мхом, лишайниками и мелким кустарником. Сверху, с вертолета, к примеру, их не разглядишь. Первый проводник просто сбежал, дав понять, что не хочет вступать в конфликт с предками, что, кстати, лучше всего свидетельствует о прочности исторического сознания саама. Место, где, в конце концов, нашли пирамиды, практически безлюдно, на 150 км вокруг нет ни души, ни тропинки. Современная геофизическая аппаратура позволила увидеть внутреннее пространство пирамид и подтвердить вывод Демина – пирамиды творение рук человеческих. Стоят они строго в направлении Восток-Запад и представляют собой обсерваторию, позволяющую следить за звездным небом. Так что предки саамов достаточно простыми методами создали систему, при помощи которой они фиксировали галактические изменения и изучали Космос. Судя по тому, что пирамиды трижды надстраивались, служила обсерватория многим поколениям.

Верно сказано было о саамах уже в первых свидетельствах европейцев: «Происшествие и раннее бытие сего народа погружено в неисповедимость». Ну, что ж, пока это верно. А вот это: «Кочуя в самых суровых пустынях, не умея ни грамоте, ни счислению времен...», – уже устарело.

Вот они какие – саамы! Нам бы ту грамоту, да счисление времен...

Конечно, можно скептически относиться к датскому летописцу двенадцатого века Саксу Грамматику, именно он оставил свидетельство о том, что саамы не только ходят на лыжах, но и предсказывают будущее и управляют силами природы. Так до просвещенного восемнадцатого века саамов считали провидцами, коим подвластны земля, воды и воздух. Прибрежные племена были хорошо известны путешественникам и грабителям, а вот обитатели внутренней территории Кольского полуострова жили, предоставленные самим себе, вокруг Имандры, Умбозера и Ловозера.

Поскольку среди вовлеченных в саамский заговор будут не только саамы, но и ижемцы, то нелишне будет напомнить тем, кто запамятовал, что коми-ижемцы, или попросту зыряне, появились в этих краях совсем недавно, в конце царствования царя-освободителя, Александра Второго.

Ижемцы пришли сюда с берегов Печоры, за ними двинулись и с полуострова Канина. Шли переселенцы, перебираясь, кто через горло Белого моря, а кто и по берегу кругом, в поисках спасения от постигшей их в родных краях необъяснимой напасти, мора, косившего тысячи

олений сибирской язвой и копыткой. Пришельцы облюбовали себе места для поселения в Краснощелье и Чалмны-Варрэ, по среднему течению Поноя, прорезающего Кольский мешок в его низменной части с Запада на Восток. Приглянулось им и Ловозеро с Вороньей, куда ижемцы принесли высокое искусство оленеводства.

Да, высокое, и это притом, что именно саамы ведут свое происхождение от оленей, они так сами о себе и говорят: «Мы народ олений, предки наши были олени». Среди языческих саамских божеств особым почтением пользовался олень Мяндаш – человек-олень. От него саамы убежденно ведут свою прямую родословную.

Есть тому и некоторого рода подтверждения.

У села Чалмны-Варрэ неподалеку от берега Поноя нашли гладкий камень, размером со среднюю картину Айвазовского, около четырех квадратных метров. Но это размер. Стилизовое же решение ближе к Филонову, к его многофигурным композициям, где рисунку тесно, а мысли просторно. Весь камень сплошь покрыт наскальными рисунками. Среди шестидесяти изображений, почти вплотную притиснутых друг к другу, и даже налегающих друг на друга, есть повторяющийся сюжет рожаящей женщины. Что двигало рукой мастера, вооруженного кремневым стилем? Какая тревога, какое волнение, какая радость? Восторг? Страх? Благодарность? Ужас? Желание эпатировать публику острым сюжетом? Теперь уже не узнаешь, ясно только одно, – лишь сильное чувство заставляло возвращаться к изображению дарующей жизнь женщины, в пределах традиции, стремясь к совершенству рисунка.

И вот как раз среди этих рисунков есть изображение женщины, рожаящей олененка. Что характерно? Правой рукой роженица удерживает за заднюю ногу изготовившегося бежать хирваса-оленя, то бишь самца. Проблема признания отцовства и в пору позднего неолита, судя по всему, стояла не менее остро, чем нынче. Жизнь меняется, проблемы остаются. Впрочем, момент удержания оленя за ногу не очень понятен. Женщина, сошедшаяся с оленем, могла бы и знать, что на одного доброго хирваса приходится в стаде двадцать-двадцать пять важенок, которые тоже хотят стать мамашами. Но в любом случае рисунок наглядно говорит о близости и прямом родстве оленя и человека в сознании саама.

И при всем при этом, по меркам ижемцев, саамы оленеводами были аховыми.

Лопарь привык к тому, что олень не требует почти никакого ухода. Заклейми оленя, сделай надрезы на ушах, чтобы с чужими не спутать, и пускай его на все четыре стороны. Жили олени на воле летом и зимой оставались без всякого присмотра. А жизнь меняется, ох, как меняется. Это на погостах, да в головах лопарских мало новостей. Саамы народ честный, покладистый, к воровству не приучены, иное дело народ цивилизованный, промышленники, тут не зевай. Было у саамов по 200 да по 400 оленей, а стало по 20 да по 40, редко у кого до коллективизации сохранилось по 300 да по 500 голов. А олень это же и пища, и одежда, и крыша над головой.

Стали налегать на охоту, на рыболовство. Что речной ресурс, что озерный, сиги, кумжичка, семужка, форель, голец, черпай хоть на день, хоть на неделю, хоть на год впрок, в две тысячи лет не вычерпашь.

Ижемцы, прибывшие в эти земли со стадами оленей, хотя и поредевшими в трудной дороге, но все еще изрядными, не упускали случая показать, как они ловко управляют с оленьим стадом. Был здесь, конечно, и момент соперничества и ревности.

Когда на землю, где от веку жили одни племена, вдруг приходили и поселялись новые люди, их редко встречали как желанных гостей. Понадобилось немало времени и великие потрясения всех основ жизни на территории всей России, чтобы саамы и пришлые в Лапландии коми-ижемцы, попросту зыряне, преодолели взаимное отчуждение.

Было время, ижемцев даже не принимали в саамские игры.

Было дело, один ижемец, из недавно прибывших, умудрился пробраться на заповедное Сейдозеро, спрятанное в чаше, образованной горами. А что он увидел на берегу? Увидел мно-

жество лопарей, раздетых донага, мужчин и женщин. Мужчины, чьи головы украшали оленьи рога, боролись между собой за право обладания женщиной. Дело было теплым летом где-то в самом конце позапрошлого века. Можно понять изумленного ижемца, да любому, будь он даже и не ижемец, тоже захотелось бы помериться силой и получить вожденный приз. Он разделся и выбежал из своего укрытия к месту схватки. И что же? Лопари и лопарки предпочли разбежаться, но не принимать в свои игры чужака. Постоял ижемский человек, в чем мать родила, на опустевшем игрище и пошел восвояси, несолоно хлебавши.

Первые аргиш, санные обозы и оленьи стада, караваны ижемцев, появились в Лапландии в 1883 году, а первый брак между двадцатитрехлетним саамом и восемнадцатилетней ижемкой был заключен только в феврале 1929 года, кстати, как раз в Ловозерском загсе.

В Ловозеро ижемцы сначала поселились на особицу, на другом берегу речки Вирмы, потом уже двинулись в глубинку, застроив Краснощелье, Ивановку и Каневку.

Почти полвека друг к другу приглядывались!

А тут и коллективизация подоспела, весьма способствовавшая объединению саамов, коми, ненцев и русских в единые дружные трудовые коллективы.

Надо признать, что отважившиеся на переселение ижемцы оказались более предприимчивыми, более инициативными, изобретательными, и отличались сплоченностью, которая только и позволяет пришлому племени выжить в чуждых пределах. И в торговле они преуспели, а при советской власти в начальство охотно пошли, и за новое дело брались бесстрашно, одно слово, зыряне. Недаром же первым председателем местного Совета в Ловозере, на исконно лопарской земле, стал ижемец, а первым шофером стал его сын.

Обо всем этом сказать совершенно необходимо, иначе трудно будет понять, почему Иван Михайлович Михайлов отвел в саамском заговоре такую значительную роль ижемцам, почти такую же, как русским.

Наряду с появлением коми-ижемских колонистов важнейшим событием, по-своему знаменательным в истории края, стало в 1894 году начало переписки об учреждении Ловозерской метеостанции.

Это событие трудно переоценить как в научном, так и в художественном плане.

Нет, жизнь сочинитель непревзойденный и соревноваться с ним – только пеночек смешить, есть в тундре такие маленькие смешливые птички, чуть поменьше ворокушек, тех, что прилетают следом за лебедями.

Организатором Ловозерской метеостанции и первым метеорологом стал священник, грубо говоря, поп.

Были времена, когда наука и просвещение находили себе прибежище в монастырях и на церковных подворьях. Не прервалась эта традиция и в XIX веке. Пусть австрийский монах придумал правила наследственности, а зато наш ловозерский батюшка Николай по просьбе Главной Физической Обсерватории в Санкт-Петербурге согласился устроить на Ловозерско-Лапландском погосте метеостанцию и вести на ней наблюдения.

И нелегко решить, кому из них было труднее, австрийскому монаху или нашему батюшке.

Строить метеостанцию в тундре это вам не в теплом австрийском климате делать опыты над горохом.

Из интенсивной переписки батюшки с директором Главной Физической Обсерватории г-ном Г. Вильдом и успешным сменить его в этой должности г-ном М. Рыкачевым видно, как тощий кошелек русской науки сдерживает смелый полет боговдохновенной мысли и замедляет осуществление даже простых научных замыслов отца Николая.

Прошло пять лет с начала переписки, и в Санкт-Петербург приходит сообщение от святейшего метеоролога: «Честь имею донести Главной физической обсерватории, что метеорологические наблюдения при Ловозерско-Лапландской станции начаты мною с 12 марта сего 1899 года».

Вот и последний священник Ловозерского погоста Михаил Распутин тоже оставил по себе память. Как человек образованный, окончивший Архангельское духовное училище и два класса псаломнической школы, Михаил Иванович стал в Мурманском краю весьма известен, о нем писали в главной областной партийной газете «Полярная правда». Батюшку в Ловозере уважали и не ругались при нем матом. Не дай бог узнает! После падения недолгой белогвардейской власти на Мурмане он был в делегации села Ловозеро, ходившей в Мурманский Совет за разрешением создать Советскую саамскую республику. Резоны были предъявлены убедительные, а может, помогла и молитва отца Михаила. Мурманский Совет принял историческую резолюцию: «Дружно крикнем во имя мировой революции – да здравствует Советская Лопарская Республика!» Дальше уже далекий Совет Народных Комиссаров в Москве посчитал полторы тысячи народу для Республики маловато, но право организовать самостоятельную лопарскую волость с центром в Ловозере разрешил.

Были у батюшки и олени, и даже свое озеро за селом, и по сию пору именуемое Поповским. Если кто приходил к месту его промысла, он его увещевал: «Иди, сыне, дальше! Вон рядом Ловозеро. Там и воды, и рыбы поболее. А мне от храма далеко ходить нельзя». Так за собой озеро и оставил.

Старался батюшка по примеру предшественника не отстать от своего времени, не чужд был идеям кооперации и торгового промысла. Был избран первым председателем Ловозерского кооператива, и труды его на этом поприще заслужили благосклонную оценку опять же в «Полярной правде», дескать, служит поп в кооперативе «гладко и хозяйственно». Но не избежал батюшка и строгой партийной критики, та же газета указала ему на необходимость различать, «где его личное хозяйство, а где общественное», где свой карман, а где общий.

Среди множества достоинств отца Михаила был у него и грешок, выпить любил. Это ли для русского человека грех!

Да вот в подпитии буйным становился... Как говорится, из песни слова не выкинешь. А уж пел отец Михаил во хмелю, хоть святых выноси, и не только божественное...

Не пропускал батюшка ни митингов, ни собраний, о коммунистах отзывался только хорошо, а принимая участие в праздничных демонстрациях, ходивших по Ловозеру с флагами и портретами вождей, пел со всеми «Интернационал». Не помогло. И дом поповский снесли, на его месте райисполком поставили. И церковь переделали в клуб. И сам на Соловках сгинул.

Долго ли, коротко, но уже к незабываемому 1917 году на Ловозерье раскинулось четыре погоста, само Ловозеро, да Семиостровье, да Лявозеро. Четвертый погост – Воронье, что по реке Воронье. Река богата семгой и порогами со звучными именами – Медвежий, Кровавый, Малый Падун и Большой Падун. Последний уже при выходе Вороньей в Ледовитый океан, напротив большого плешивого острова Гавриловский и островов помельче, скопом названных Вороньи Лудки.

На всех четырех погостах обитало семьсот семь человек, вполне достаточно, чтобы избрать председателем местного Совета батрака-оленевода, тридцатидвухлетнего ижемца Рочева. По мастито Семен Макарович ижемец, а по роду, надо думать, из русских, поскольку «роча» на языке зырян как раз и значит «из русских». Видно, добрая мать-олениха облизала родившегося в 1875 году Семена Макаровича, если дарована была ему долгая жизнь, пережил он многих земляков и сородичей и увидел радость победы над немецко-фашистскими захватчиками, как ни силившимися, но ни пяди лопарской земли так и не захватившими.

И вот уже в 1921 году открылась в Ловозере первая изба-читальня, а на следующий год медпункт, и то верно, о душе надо сперва заботиться, потом о теле.

А там, глядишь, в год смерти Ленина возникла партийная ячейка, а следом и комсомольская, а на следующий год в избе-читальне и драматический, и политико-просветительский кружок, и пионерский отряд.

Вспомнили, что еще в злосчастном 1905 году купчина Терентьев затеял замшевую фабрику, где держал пять работников. Теперь не на хозяина, а на себя, на благо всей страны заработала новая замшевая фабрика, где уже десять рабочих под руководством директора ижемца Ануфриева, Макара Васильевича, готовили замшу из оленьих шкур.

В десятую годовщину Великого Октября ловозерцы в избе-читальне впервые услышали радио. В этом же году успешно пошел экспорт оленины в Норвегию и Данию. А в Ловозерской школе, открывшейся в далеком 1890 году для восьми мальчиков и пяти девочек, в 1927 году уже не один, а трое учителей учили шестьдесят четырех мальчиков и девочек.

Ловозеро росло так быстро, что пришлось в застройке несколько беспорядочной, где перемежались деревянные дома и саамские тупы, жилье вроде бревенчатых дворовых клетей с полоской односкатной крышей, все-таки обозначить три улицы – Советскую, Хибинскую и Колхозную.

Завод переработал пять тысяч шкур!

Открыли больницу на двенадцать коек!

Ловозеро соединили телеграфно-телефонной связью с Мурманском, а к Кировской железной дороге проложили автомобильную дорогу, длиной в пятьдесят километров. И очень кстати! На склонах Ловозерских тундр, как именуются здесь сопки и горы, вздымающиеся аж на тысячу метров, нашли-таки богатейшее месторождение циркониевых руд.

19 марта 1930 года радио заговорило уже в домах. В Ленинградский институт народов Севера отправились учиться лучшие ученики ловозерской школы – Домна Кириллова и Яков Юрьев. А сколько отправилось в Архангельскую штурманскую школу?

В 1934 году в хозяйстве Ловозера появился первый автомобиль и первый трактор, и первым шофером тоже стал Степан Рочев, сын первого председателя местного совета Семена Рочева.

Семимильными шагами двинулось просвещение саамов.

5. Вагончик счастья

Серафима Прокофьевна настолько полновластно вошла в жизнь Алдымова, что все прежнее казалось ему лишь заблуждением чувственности. Ему очень хотелось сказать ей, обязательно сказать об этом важном рубеже в его жизни, но входить в прежние обстоятельства было совершенно невозможно, да и незачем. Но необходимые слова однажды пришли сами собой и раньше, чем он ожидал.

Это было еще в вагоне на запасных путях, в «теплушке», ставшей их первым домом. Впрочем, хотя вагон был не велик, но разделен был на две половины, для двух семей. Вторую половину занимала семья нарядчика с угольного склада, Прокопия Шилова, человека умеренной трезвости и неумеренной доброты. Прокоп обеспечивал углем для обогрева обе половинки дома на колесах. А еще была приобретена по случаю американская керосиновая печка, уцелевшая после ухода интервентов, что было предметом тихой гордости главы маленькой семьи. А главное, печка эта не требовала постоянного наблюдений и обихаживания, как питавшаяся углем «буржуйка», быстро нагревавшаяся и, увы, так же быстро остывавшая.

Оба были не молоды. Несколько раз он замечал, что ее чудесное лицо тускнеет. Как озеро под солнцем, спрятавшимся под толщу облаков, теряет свой живой лик, так же и тень прожитых лет, как пасмурные дни, предвестники приближающейся осени, спешат напомнить о конце лета. Но, слава Богу, мы сами-то не замечаем своих лет. Она вставала. Поправляла прическу. Ставила на американскую «керосинку» чайник... Все предметы были беззвучно послушны ее рукам. Он подходил к ней, обнимал, словно хотел убедиться, что это не призрак, а живая плоть. Она смотрела на него с вопросительной тревогой. Он целовал ей руки, окуная лицо в ладони. Вдруг мелькнувший призрак исчезал, он смотрел в ее серые с зеленой искрой глаза и тихо говорил: «Как хорошо». «Милый ты мой», – тихо произносила Серафима Прокофьевна, женским своим чутьем угадывая все, что он мог чувствовать, не признаваясь себе. Он смотрел на нее, не говоря ни слова. «Я постарела?» «И прежних радостей не надо, вкусившим райского вина!» – шепотом произносил Алдымов и, словно их могли услышать: «Я не могу тобой насытиться».

Вместе читали «Дневник Николая Второго», трагический в своем на всю жизнь подростковом простодушии.

Светик еще не родился, но уже явно тяготился замкнутым пространством материнского лона. Однажды они сидели перед источавшей ровное тепло керосиновой печкой, накинув на спины старую черную шинель с подстежкой. Алдымов обнимал Серафиму Прокофьевну за плечи. Света от «летучей мыши», висевшей на крючке, ввинченном в потолок, не хватало, чтобы высветить тонувшие в темноте углы обжитой половины вагончика. Каждый угол имел свое наименование: «кухня», «спальня» и «кабинет», обозначенные кухонным столиком, пружинным матрацем на широких чурках и письменным столом с тремя выдвижными ящиками. Так дети, выгораживая где-нибудь в дальнем углу двора подобие дома, играют в свою «квартиру», так же и припозднившиеся молодожены словами: «Посмотри на кухне...», или «Пойдем, мой друг, в спальню...», возводили свое пристанище в ранг жилища, достойного солидной семьи.

В свое время, в ссылке, куда его отправили в 1907 году, у Алдымова было предостаточно времени, что позволило ему сделать немало открытий, так он открыл для себя поэзию древних греков. Именно эти стихи, пришедшие из непроглядной дали, вернее, их эхо в XX веке, быть может, позволили ему почти физически ощутить человеческое дыхание и тепло в дотолем холодном историческом пространстве.

Сами же стихи с первого прочтения поселились в нем на всю жизнь. Ему казалось, что он их знал всегда. И вот теперь, в вагончике на запасных путях, он дарил Серафиме Павловне Алкея, Феогнида из Мегары, Пиндара, Анакреонта, Архилоха!..

«...Сердце, сердце, пред тобою стали беды грозным строем.
Ободришь и встретишь их грудью, и ударим на врага.
Пусть кругом врагов засады, твердо стой, не трепещи.
Победишь, своей победы напоказ не выставляй.
Победят, не огорчайся, запершись в дому, не плачь.
В меру радуйся победе, в меру в бедствиях горюй.
Смену волн познай, что в жизни человеческой царят».

– Как мало поменялась жизнь, – сказала Серафима Прокофьевна.

А еще в их жизни была игра, по сути, не игра, а скорее заветные слова, в которых они хранили счастливый миг встречи.

Когда они оставались одни, Серафима Прокофьевна подходила к зарывшемуся в отчеты, переводы, докладные записки и письма Алексею Кирилловичу и негромко спрашивала: «А что вы скажете о позиции Смилги?»

Как бы не был он занят, Алексей Кириллович вставал, брал в ладони обе руки Серафимы Прокофьевны и целовал...

Их чувства так никогда и не измельчали до привычного.

За утепленными двойными стенами шуршала поземка, доносились звуки маневровой жизни станции, лязг буферов, свистки паровозов и похожая на утиный манок погудка стрелочников. Все время Серафиме Прокофьевне казалось, что и их вагон вот-вот сдвинется и куда-то покатит, хотя к вырезанному в стене входу был пристроен небольшой тамбур и лестница с перильцами, а под брюхом вагона лежала кладка дров, сбитых скобами, чтобы хотя бы так, если не предотвратить, то хотя бы затруднить их хищение.

– Ты знаешь, за что я тебе благодарен? – спросил Алдымов.

Алексей Кириллович постоянно придумывал повод благодарить Серафиму Прокофьевну. Мог благодарить «за вашу к нам благосклонность», «за щедрости несравненные», а узнав, что она в положении, тут же благодарил за одоление его бесчадия и титуловал жену ваше благоутробие.

– Говори, – чуть слышно сказала Серафима Прокофьевна и только чуть теснее прижалась к мужу.

– Итак. Благодаря тебе эволюционный переворот, обычно длящийся столетия, а то и того больше, со мной произошел в считанные дни. А может быть часы. – Чуть помедлил, что-то припоминая, и, сам тому удивляясь, договорил: – А может быть минуты.

Серафима Прокофьевна уже знала эту манеру Алдымова, говорить о них, находя сравнения и пояснения в сравнениях самых неожиданных.

– Что, в сущности, произошло? Благодаря тебе, я от жизни кочевой перешел к более прогрессивной оседлой форме жизни.

Алдымов не видел лица Серафимы Прокофьевны, но знал, что она улыбнулась.

– И ты это говоришь, сидя на колесах?

– Это колеса на конечной станции. У нас будет дом, в доме будет настоящая печка. Мы будем перед ней сидеть уже втроем, с пупсом...

Именно так, «пупсом», именовался пока еще неведомый обитатель материнских недр.

– Так что «полевой» жизни пришел конец, – твердо закончил Алдымов.

Серафиме Прокофьевне не нужно было объяснять, что сказанное было как раз не подведением черты, даже не прощанием с прошлым, а еще одним признанием всей важности того, что случилось с ними, еще одним объяснением в любви. Впрочем, именно этого слова в их обиходе не было, как не было и «объяснения в любви», словно они боялись, не сговариваясь, назвать чужим словом то, что принадлежит только им, то, чего они еще никогда в предыдущей жизни не чувствовали, не испытали и чем безмерно дорожили.

Не то, чтобы темперамент, а юношеское любопытство, а затем, как водится, мужское тщеславие, желание испытать на практике соблазнительные вольности, побуждали Алдымова вступать в связь. При этом он был одинаково далек и от обывательского морализирования, и православной грехобоязни. Грубые скабрёзности, неизбежная приправа общения мужских компаний, на фронте ли, в экспедициях, на стройках, словно не касалась его. Он не морщился демонстративно, как делают люди хорошего вкуса, не улыбался снисходительно, как делают великодушные умники, а просто не слышал, не замечал, пропускал мимо ушей то, что было ему не по душе. Когда ему случалось присутствовать при разговоре о женщинах, бабенках, девках и любовных приключениях, казалось, он выключал слух. Пошлость, как говорится, не приставала даже к подошвам его башмаков. Мужское целомудрие, быть может, такая же редкость, как и целомудрие женское, но, естественно, совершенно иного рода. Мужчине совершенно не грозит то, что для женщины представляет первейшую опасность, – мнение толпы, окружения, всегда готовых создать репутацию. Мужчина, для которого понятие тайный стыд не пустой звук, смотрит на себя не глазами осуждающей все и вся толпы, напротив, он как раз свободен от чужих мнений, тем более свободен от боязни осуждения, да и кто же и когда строго судит ловеласов и донжуанов. Он, прежде всего в собственных глазах, не хочет быть смешным, и вовсе не по расчету, не по замыслу, а по чувству. Алдымов представлял собой редкий и счастливый тип мужчины, признающего права природы, но чьи чувства одухотворены, а разум склонен доверять очеловеченному инстинкту.

– А еще я знаю, что сделаю в тот первый, самый первый вечер, когда мы останемся ночевать в нашем доме. Я усажу тебя на стул, если не будет стула, на ящик... Принесу таз, не будет таза, ведро... И омою твои ноги... Это, чтобы ты знала, путь окончен, мы пришли...

– Пришли к более прогрессивной оседлой жизни? – иронической фразой Серафима Прокофьевна скрыла то волнение, что передалось ей от уверенности Алдымова в том, что все будет именно так, как он сказал. – Только почему же ты своих любимых лопарей не убеждаешь в прелестях оседлой жизни?

– Правильно, не убеждаю. Все формы жизни возникают, становятся, затем изживают себя. Конечно, в какой-то, быть может, вполне обозримой перспективе, саамы могли перейти к оседлой жизни. Только они должны изжить, сами изжить свой уклад. Взять от него все, что несет им радость и уверенность в себе. Это значит, не переселяться в другую жизнь, а изменить свою, обогатить, усовершенствовать, но сохранить то, что присуще только им. Мне тоже казалось, что моя полевая жизнь единственное, что мне по душе. Не привязанный, ни чем не обремененный, я мог заниматься тем, что мне было интересно и дорого. Я взял от нее все. Теперь мне интересно и дорого не только статистическое управление и словарь саамов, саамские диалекты, но и ты с пупсом... И сколько бы меня еще два года назад ни убеждали, ни уговаривали, не объясняли, ни водили на лекции, я бы не отказался от своей полевой жизни. А сейчас я буду камни ворочать и бревна таскать, а дом у нас будет.

При монтаже «козлового» крана в порту сорвался молодой рабочий, упал неудачно, на стоявшую внизу вагонетку, и крепко разбился, со множественными переломами. Серафима Прокофьевна рассказывала Алдымову с горьким состраданием о том, как перепуган-

ные мужики потащили покалеченного на руках, вместо того, чтобы положить на жесткие носилки...

– Ты знаешь, – как-то поспешно, заговорил Алдымов, тревожно взглянув на Серафиму Прокофьевну, словно хотел ее предупредить о чем-то важном и боялся упустить время. – Есть профессии, где человек ни в коем случае не должен терять чувство страха. Страх, именно страх, не трусость, а сознание опасности вещь совершенно необходимая. Парень-то молодой?

– Двадцать четыре.

– Вот видишь. – Алдымов помолчал. – Страх очень нужное, сторожевое чувство. Я это стал понимать только теперь, когда мы вместе...

Серафима Прокофьевна подняла на него глаза, и он понял, что продолжать не надо. Она подошла к нему, обняла, счастливо улыбнулась и твердо произнесла:

– И мне... страшно...

– Оказывается, глупые, на первый взгляд, слова, «страшно хорошо», не так уж и глупы, – тихо сказал Алдымов, словно боялся, что их кто-то услышит, услышит их тайну.

6. И все-таки обидели

«Мурманск, так Мурманск», – рассуждал Иван Михайлович, пуская дымные колечки в купе мягкого вагона «Полярной стрелы», мчавшей его к новому месту службы.

Да, мчавшей, а давно ли еще двухосные теплушки, набитые колонистами, подрядившимися на строительство порта, флота, новых заводов и городов, по четыре семьи на «коробку», тащились от Ленинграда до Мурманска по три и четыре дня. Пассажирам после Петрозаводска случалось выходить и своими силами поправлять хлипкие пути, на скорую руку уложенные чрез болота и хляби в горячке Империалистической войны на дистанции от Петрозаводска до Романова-на-Мурмане. Полтора года строили, да пятнадцать лет до ума доводили. И только семь лет назад, в 1930 году, по путям, твердо вросшим в холодную каменистую землю, полетела, выпущенная из Ленинграда в Мурманск, «Полярная стрела», заполненная геологами, ботаниками, ихтиологами, землеустроителями, инженерами всякого звания, топографами и моряками, как торговыми, так и военными. Летел вместе со всеми и младший лейтенант Михайлов в полной военной форме по случаю нового назначения.

Как и все нормальные люди, на пороге нового этапа жизни Иван Михайлович предавался воспоминаниям, к чему располагало двухместное купе международного вагона цвета «берлинская лазурь» с накладными, золотом горящими бронзовыми буквами «Полярная стрела» над окнами с хрустальными стеклами. Окна были обрамлены тяжелыми бордовыми занавесками с бомбошками, а коридор выстлан кабинетной ковровой дорожкой.

...Да, что и вспоминать, работа по «объединенному троцкистско-зиновьевскому центру» была адова, но на другую и не ориентировали, и никто не спрашивал, спал ты или не спал, ел ты или не ел, домой забегали только белье переменить... Сначала, когда прошла команда, принести из дома подушки, улыбались, решили, что шутка. А когда пришлось спать по три-четыре часа в сутки, подушки очень кстати пришлось... Орден дали. С одной стороны. А с другой, его «Красная Звезда» у многих товарищей по оружию вызвала почти не скрываемую зависть, так что обойденные высокими наградами только покачивали головами, а ведь и сами признавали упрство Ивана Михайловича в достижении цели.

Ростом был Иван Михайлович, как говорится, в два топорща, от силы в три. Но Иван Михайлович умел работать с подследственным до тех пор, пока тот не изъявлял добровольного желания дать признательные показания. А глаза были у Ивана Михайловича синие-синие, как петлицы на гимнастерке, как околыш на фуражке, как высокое летнее небо, прямо васильковые, а белесые ровные брови были чуть похожи на перистые облака.

Постановление ЦИК СССР «О награждении т.т. Заковского Л.М., Шапиро-Дайховского Н.Е., Коркина П.А., Карамышева П. В. и других» за подписью Калинина и Акулова было опубликовано в «Правде». Были в списке и награжденные орденом «Красной Звезды»: Райман, Болотин, Мигберт, Альтшулер, Шитев и Голубев. Когда Иван Михайлович развернул газету, глазам своим не поверил, ему же сказали, уже поздравили... Кто поздравил? Сам Коркин, Петр Андреевич, удостоенный высшего ордена. Врагу не пожелаешь пережить такие минуты, а здесь целых три часа понадобилось, пока все не прояснилось. В Постановлении, подписанном Калининым и Акуловым, Михайлов был, а из-за какой-то технической оплошности в публикацию не попал. Технические оплошности тоже люди совершают. А все зависть, хоть так человеку праздник подпортить. Попробовали бы они Коркина или Раймана пропустить!.. А Михайлова можно... Все понимают, одно дело, когда твое имя в «Правде» на всю страну гремит, и совсем другое, когда пригласят хотя бы и в Смольный, руку пожмут и коробочку вручат. Большущая разница! Правда, когда в Смольном вручали орден, на две головы, а может больше, возвышавшийся над орденоносцем секретарь обкома Кузнецов, протягивая красную коробочку и пожи-

мая натруженную руку, улыбнулся своей чудесной улыбкой и сказал: «Мала птичка, да, видать, коготок остер!» Придет время, и не только повидать вблизи, но и почувствовать остроту этих «коготков» доведется пережившему вместе с городом блокаду, поднявшемуся до Секретарей ЦК т. Кузнецову.

...Хорошо было на душе у Ивана Михайловича. Так чувствует себя выпускник, если не академии, то, по крайней мере, высшей школы. Выпускник успешный, получивший награду, хорошее назначение и никаких каверз от жизни не ожидающий. Мурманский край при здравом рассуждении место благодатное. С одной стороны, место каторжное, куда везли и везли спецпереселенцев, но, с другой стороны, считай, и Ленинград под боком, и Москва не за горами. Не то что Сибирь, даже не Урал. От этих мыслей в лице Ивана Михайловича появлялось что-то молодое, свежее, почти счастливое.

Не каждому молодому побегу суждено стать полновесным деревом. Не каждому молодому оперуполномоченному, фельдъегерю, сержанту или младшему лейтенанту суждено стать комиссаром госбезопасности. И если в природе большие деревья живут дольше, чем бойкая поросль, то в госбезопасности не как в природе, а наоборот, у комиссаров большого ранга шансов уцелеть тем меньше, чем выше звание. Вот такой парадокс. И все равно, большинство сотрудников, ну, прямо как рыба на нерест, стремятся все выше, вверх, выше, а потом, лишённые сил, летят вниз, подхваченные сокрушительным течением, и не каждому удается достичь спасительного пенсионного плёса. Карьеры на поприще госбезопасности складывались подчас так стремительно, что и времени не было подумать, куда это их занесло и откуда это их низвергли столь неожиданно, обидно и болезненно.

Что и говорить, это особое воинство, где усердие заменяет многие знания и умения, где беспощадная твердость в борьбе с врагами, как правило, безоружными, заменяют ратную дерзость и молодое удалство, столь высоко ценимые в других родах оружия.

...И ни одной тяжкой мысли в голове у Ивана Михайловича.

Работа будет, жильё дадут, оклад-жалованье плюс полярная надбавка. Нет, что ни говори, есть в военной службе неизъяснимое достоинство!

Он почувствовал вкус к службе еще в первом приближении к армии, когда ходил в «переменниках». Что в армии самое главное? А самое главное, о себе не надо думать. И одежду дадут, и о том, чтобы был сыт, позаботятся. Исполняй, что скажут, а что не скажут, не исполняй. Надо будет, и заметят и оценят.

А вот если уж совсем приглядеться к тайникам души младшего лейтенанта госбезопасности Ивана Михайловича, конечно, тень тревоги разглядеть все-таки можно. Но какой тревоги? Той, что сродни нашему беспокойству перед верным свиданием, когда воображение рисует радужные картины, а какой-то вечный трус, ну, не трус, пусть осторожный человечек, не дремлющий внутри нас, говорит: а вдруг не придет, а вдруг что-то помешает, и все такое... Но тревога эта лишь аранжирует мелодию счастья, которая звенит временами у нас в душе почти беспричинно.

Вот и в соседнем купе какие-то солидные мужики, с виду интеллигенция, забыв закрыть дверь в коридор вагона, запели, сопровождая песню звоном стаканов в подстаканниках, надо думать, не с чаем: «...Там за далью непогоды есть волшебная страна!...»

Жизнь не обманет, не посмеет обмануть человека с тремя малиновыми «кубарями» на синих петлицах!

Редкое здоровье и недюжинная душевная твердость наполняли неказистое с виду тело младшего лейтенанта.

Иван Михайлович отлично сознавал, что летит на гребне сокрушительной волны, поднятой историческим, прошедшим нынешней весной, февральско-мартовским пленумом ЦК

ВКП(б). По имевшимся в Ленинграде данным, в Мурманском Окротделе дела шли неважно. В частности, товарищ Сталин потребовал со всеми фракционерами сражаться как с белогвардейцами, вроде бы, все ясно, а в Мурманске за весь 1937 год до самой августа месяца полный штиль, семнадцать человек арестовано! Отправляя младшего лейтенанта Михайлова в Заполярье, Шапиро-Дайховский напутствовал его лично: «В Мурманске – сплошная контрреволюция. Мурманск наводнен перебежчиками всех мастей и шпионами, а работы нет. Взяли секретаря Мурманского Окружкома партии Абрамова, посадили, а показаний получить не могут!.. В Кировске на АНОФ-1¹ диверсия, а начальник РО самоустранился. Ничего, я с ним лично разберусь. Из девяти арестованных осужден – один! А? Ты слышишь, один! Для них что, закон не писан? Сказано: вести следствие упрощенными методами. Санкции на физические методы дознания даны! Что им еще надо!? Бездельники! Белоручки! Думают в своем медвежьем углу отсидеться?!» Натан Евнович говорил куда более колоритно, но, к сожалению, есть такие краски, какие не должны расцветивать даже самое правдивое историческое повествование, хотя краски эти были полны экспрессии и сообщали дополнительный заряд энергии подчиненным.

Временами Ивану Михайловичу казалось, что его «Полярная стрела» летит, не касаясь земли.

Так ведь еще и не в Мурманск он прилетел, где полетели головы четырех секретарей Окружкома, четырех секретарей райкомов, множества комсомольских и хозяйственных работников, а залетел вовсе в Ловозеро, оказавшееся новым местом его службы.

Есть люди, которым судьба все несет на блюде, а вот Ивану Михайловичу все приходилось выбивать своими руками. Летел он в Мурманск в полной уверенности в том, что его ожидает хорошее назначение. И на коне, и звание, и орден. А главное – волна и напутствие, обещающее большие дела... И вдруг – Ловозеро.

Откуда ему было знать, а в кадрах такого не сообщают, что орденосцем Мурманский Окружком в срочном порядке заткнул дыру в ожидании наезда бригады следователей УНКГБ Ленинградской области.

Перед самым прибытием Ивана Михайловича в Мурманск терпение у окружного начальства госбезопасности лопнуло, и было принято решение сержанта Даниила Орлова из Ловозера убирать. Добро бы систематическое пьянство, это еще, куда ни шло, но сержант Орлов смотрел на Ловозерский Адмотдел, как на свою дворню, как на свою челядь. Об использовании милиционеров в своих личных интересах писали и из милиции, и из партийных органов. Писали и о том, что сержант Орлов грубо обращается и с населением и с милицейским составом, что вызвало подачу коллективного ходатайства о его замене. Да и политически Даниил Орлов вел себя не твердо. Родившегося от второго несостоявшегося брака ребенка сначала «октябрил», а потом крестил. Пытался в нетрезвом виде изнасиловать женщину. Но не смог. Половая его распушенность в небольшой местности вся была на виду. Вкусив опасную прелесть непостоянства, уже не знал стыда. Так он ходил в дом к кооператору Брындину, о чем писал сам Брындин мурманскому начальству в Окружком: «Сержант Орлов считает меня дураком и в то же время ухаживает за моей женой. Не однократно позволял себе украткой входить в мою квартиру и разбивать семейную жизнь. Выше перечисленный Орлов ведет сожителство не с одной женщиной, а и как партиец, должен не водворять ссору, а где ссора урегулировать».

Капля? Конечно, капля. Но капля и камень точит, а ведь Орлов не каменный... Капали, капали, и утопили человека.

¹ Апатито-нифелиновая обогатительная фабрика.

Да, не был сержант Орлов примером чистоты и воздержания. И сам не заметил, как докатился до нескрываемого распутства. С людьми, вкусившими необузданной власти, такое случается. И чем выше власть, чем она необузданней и безнаказанней, тем чаще. Но там, наверху, всегда толпится сонмище льстецов и лицемеров, что угождают властителям, восхищаются их мудростью и великодушием, потворствуют любой слабости, умиляются любой причуде. И не будь этого холопского племени, этих вечных барских угодников, вручающих право на низость и бесчувствие, ни одному негодяю в истории не удалось бы подняться так высоко и стать человеческой пагубой. Вот и в сержанте Орлове были очень серьезные задатки, далеко и высоко мог бы пойти, но нетерпение и неумное жизнелюбие не позволили этим задаткам развернуться в полную силу.

События по всем признакам надвигались такие, что работа снова предстояла адова, а где ж Орлову, если у него столько отвлекающих моментов.

Вот и решило начальство, прежде чем найдется Орлову надежная долгосрочная замена, поставить на Ловозерское отделение солидного ленинградского работника, призванного в корне поменять отношение местного населения и партийной организации к органам. Правда, злые языки, а они у нас и в органах есть, поговаривали, что начальник Окружкома Гребенщиков, награжденный орденом Красной Звезды «за самоотверженную работу по борьбе с контрреволюцией», просто не хотел, чтобы рядом в управлении светилась еще одна Красная Звезда.

7. Заглянем в органы

Об органах и людях ОГПУ-НКВД и пишут и говорят по-всякому, иногда, к сожалению, в негативном плане. Но мало кто задумывался над тем, от чего так часто, особенно в Заполярье, менялось не только руководство, но и оперативный состав ОГПУ, с июля 1934 года переименованного в НКВД? Сказывался не только тяжелый климат, но и нервная и почти круглосуточная работа, частые командировки по бездорожью, в пургу, в мороз, а то и в комариное буйство. В циркуляре «Об определении инвалидности в связи с условиями службы в ОГПУ» прямо сказано: «Материалы заболеваемости сотрудников ОГПУ показывают значительное распространение на них психоневрозов, туберкулеза и ревматических заболеваний». Именно этот диагноз давал больше всего увольнений от работы в органах. А вот и факты. На должности начальника Мурманского Окротдела НКВД только в 1937–1939 году побывали т. Малинин, т. Горик, т. Ручкин, т. Гребенщиков и т. Уралец, прибывший прямо из секретариата т. Берии. Пятеро за два года, пятеро! А наверху, в наркомате? Два года возглавлял наркомат Генрих Генрихович Ягода и сгорел. Опять же, всего два года горел на работе Николай Иванович Ежов, два года, и все, не выдерживали люди, трудная, тяжелая, нервная работа. Психоневрозы. Ни кто, ни в чем добровольно признаваться не хочет, тянут без конца вольнку и треплют людям нервы. С психоневрозами все понятно. А туберкулез? Самое распространенное тюремное заболевание. Одни в тюрьмах сидят, другие работают, а условия-то одни. У сотрудников, правда, есть отпуск, больше свежего воздуха, но, видать, не помогает. И ревматизм. Оперативная работа не кабинетная работа. Наружную службу возьмите. Улица. Сырость. Другой раз за день портянки высушить негде...

В органах тоже живые люди, в сущности, как и везде. А где люди, там грызня. Загляните в документы первичной парторганизации Окружкома, своими глазами увидите, какие там клопочут страсти, как наперегонки клеймят выбывшее начальство, как, сводя счета друг с другом, не брезгают даже предосудительными средствами. Того же Егорова хотели осудить за пьянство. А товарищи налегли, ковырнули на парткоме поглубже – оказался троцкист. Вот и сломали жизнь чекисту Егорову. Айзенштадт поскользнулся на трех грехах. Первый. Заступался за троцкиста Коца, когда того гнали из партии, а он цеплялся. Второй грешок. Когда работал в Мончегорском отделе, проглядел врагов народа, Сакварелидзе и Сергеева. Оставил их разоблачение своему преемнику, Ивану Михайловичу Михайлову. Да, да, именно Ивану Михайловичу, он и в Мончегорске поработает, его туда на повышение за блестящую работу в Ловозере перекинут. Но вот и третий грешок Айзенштадта. Как записано в протоколе: «смазал несколько контрреволюционных дел». Ну, и чекисту Айзенштадту тоже жизнь смазали. А Резе? Александр Иванович Резе был уволен из органов в связи с отцом немцем. Уволили и исключили, ясное дело, из партии. Уволили, исключили, жив? ну и живи себе тихо, нет, пошел к Давжинову. Поговорил с Давжиновым. Давжинов его восстановил. Потом выяснили, что в пору службы кочегаром на торговых судах, Давжинов сам ходил за границу, где и стал резидентом двух враждебных разведок. Вот и еще жизнь одного чекиста сломана. Тут уж надо и финнов упомянуть. Они рядом, с ними ухо держи востро! Вот начальник Кировского РО Залетухин взял и разоблачил проникших в органы контрреволюционеров-националистов: Петерсона, Салло, Луома, Тофферри, Суорса и других. Вести их дело было поручено Мятте, Ивану Михайловичу, самому образованному в Окротделе чекисту. Кроме среднего образования Мятте прошел еще и Комвуз в Ленинграде. Будучи финном, знал финский язык. И что же? Не разоблачил ни одного финского шпиона. При допросе финского перебежчика Кивимяки, с оленьим стадом вторгшегося на территорию СССР, «пытался повернуть дело в пользу последнего». Да и живший вместе с Мяттой Халиулин подтвердил его моральное падение. А Тищенко вспомнил, как глубоко пил Мятта в марте 1937 года во время командировки в Зашеек. Вот и обвинили Мятту

в саботаже операции против финнов, в национализме, пьянстве, симуляции какого-то, ни кому пока еще не известного, заболевания и контрреволюции. Опытный заместитель начальника Окротдела НКВД Тищенко проследил всю цепочку, и сложилось неплохое групповое дело, а групповые дела особенно ценились и поощрялись: группа создана немецким шпионом Резе, использовавшим националиста Мятту, пьяницу Егорова и троцкиста Коца. И, как признались сами участники «группы Резе», они вместе выпивали, вели политические разговоры, делились мнениями и недовольствами.

В июле месяце 1937 года было принято историческое Постановление о репрессировании «бывших кулаков, уголовников и других антисоветских элементов». Конечно, были и такие, кто не понимал, как говорится, отказывался понимать, почему надо репрессировать «бывших» кулаков, если они уже «бывшие», стало быть, вчистую раскулаченные. Будто и репрессировать больше некого. Тем более, что уже третий год гремела на подмостках столичных и провинциальных театров пьеса «Аристократы», по первому названию «Перековка», где наглядно можно было увидеть, как благотворно действует на уголовников и бывших кулаков строительство Беломорско-Балтийского канала. Отпетый уголовник Костя-капитан и деклассированная Сонька, вкусив радость созидательного труда, к последнему акту перековывались в превосходящих во всех отношениях граждан, навсегда покончив с асоциальным прошлым. И этих «бывших» опять репрессировать? Но Постановления пишутся не для обсуждения. И вот уже 30 июля Нарком внутренних дел Николай Иванович Ежов подписывает приказ № 00447, где детально изложено, что и как надо делать во исполнение Постановления. В Ленинград к комиссару госбезопасности I ранга Леониду Михайловичу Заковскому, человеку свежему, недавно переведенному из Белоруссии, приказ Наркома Ежова поступил 31 июля, и уже 5 августа началась операция «по репрессированию бывших кулаков, уголовников и т. д.»

Ответственным за исполнение приказа было назначен совсем недавно введенный в ранг первого заместителя наркома внутренних дел комкор I ранга Фриновский Михаил Петрович. Вообще-то «фрины» это, как известно, жгутоногие пауки. Была ли красивая фамилия Михаила Петровича природной, или это был его псевдоним еще из уголовного прошлого, история умалчивает. Зато история хорошо помнит, как, исполнив ответственное задание, Михаил Петрович пошел на повышение, стал Наркомом Военно-Морского флота. Флотоводцем он отродясь не был, хотя, в свое время, инспектировал речные суда на Амуре. А вот знающие люди говорят, что якоря и русалки, вообще богатейшая татуировка на теле комкора, были живым напоминанием о лихой и бесшабашной юности. Военно-морским министром комкор I ранга Фриновский не оставил по себе следа ни на море, ни в памяти военных моряков, только пополнил собой скорбный список очень больших военачальников, погибших перед войной. Адмиральского звания т. Сталин ему давать не стал, так и ходил нарком по Военно-морскому наркомату во френче и в галифе среди одетых в кители и клеши подчиненных. Видимо, т. Сталин не забыл, что имеет дело с бывшим уголовником, подлежащим мерам, предусмотренным июльским Постановлением ЦК и Совнаркома. Арестованный в конце рабочего дня 6 апреля 1939 года наставник флотоводцев и комкор после долгих запирательств и увиливаний чистосердечно во всем признался и 4 февраля 1940 года был расстрелян одновременно со своим бывшим руководителем, Генеральным комиссаром госбезопасности в прошлом и Наркомом водного хозяйства в настоящем, Николаем Ивановичем Ежовым.

На Мурмане, как оно и бывает в провинции, все начиналось с задержкой, с раскачкой, неторопливо, но уже в сентябре и Териберка и Терский берег первыми рапортовали об успешном начале операции. В Мурманск стали доставлять выявленных элементов.

Именно в это время в Ловозере появился новый начальник РО НКВД орденносец Иван Михайлович Михайлов. Трудно ему было с ходу включиться в большое дело, времени на оглядку, на раскачку было совсем мало, даже его и не было вовсе. К этому времени провор-

ные коллеги уже сгребали по верхнему слою граждан, поругивавших советскую власть и местное начальство, разного рода жулье, или тех, кто запятнал свою биографию даже отдаленным членством в контрреволюционных партиях, не говоря уже о вольной, или не вольной, службе в Белой армии.

Прибывшая на помощь бригада следователей НКВД из Ленинграда на конкретных примерах учила, как надо искать и разоблачать врагов. Тыкали носом в личные дела, учили видеть темные пятна в биографии, а если их там не было, то учили находить их в повседневной жизни, в быту и на работе. Выявляли тех, кто бывал за границей или встречался с теми, кто там бывал, или пас оленей, долгое время не признававших государственной границы Советской России с Финляндией и Норвегией.

8. У камелька о странностях прогресса

В свои полные двенадцать лет больше всего в жизни Светозар любил сидеть рядом с отцом и мамой перед горящей печкой, потрескивающей смолистыми дровами.

Разъезды Алексея Кирилловича по тундре, командировки, и в Москву в Комитет Севера, на углу Воздвиженки и Моховой, и в Ленинград, в Комитет Севера, и в Петрозаводск, вошедшие в практику бесконечные вечерние совещания, да и дежурства Серафимы Прокофьевны в родильном доме, а то и крепкие холода, заставлявшее истопить печь уже днем, а еще и гости, лишали Светозара любимого вечернего сидения с родителями у печки, перед открытой дверцей топки.

Усаживались после того, как прогорала первая закладка дров, печь уже дышала легким жаром, и на груду раскаленных углей и не прогоревших головешек закладывали еще четыре-пять поленьев.

Светозар подтаскивал к печке два венских стула, предназначенных для Серафимы Прокофьевны и Алексея Кирилловича, его же место было внизу, на полу, между ними, на маленькой скамеечке, специально построенной отцом. Мальчик смотрел в огонь, лицом чувствуя игру огненных всполохов, а плечами и спиной тепло тел отца и матери.

Иногда отец просто читал вслух. Особенно Светозар полюбил не один раз прочитанную «Черную курицу».

Но особое удовольствие доставляло самому Алексею Кирилловичу чтение новой в его собрании саамской сказки, привезенной с дальних погостов. Возвращаясь из поездки, голодный, продрогший, объявлял с порога, вытряхивая снег из промерзшей дохи: «А что я привез!» Это означало только одно – новую сказку. «Матрехин, возница, вот уж ни как не ожидал, такой молчун, а тут вдруг сказкой подарил. Видно, настроение было хорошее. Прямо в санях и записал». Записывал Алексея Кириллович сказки на том диалекте, на каком ему их рассказывали, в надежде опубликовать со временем вместе с переводом и текст оригинала, на Кильдинском, или Бабинском, или Нотозерском, или Терском наречии, а то и на говоре Екостровских лопа-рей, близком к Кильдинскому диалекту, но все-таки со своей краской. Кстати сказать, как раз в своем докладе, прочитанном в Комитете языка, Алексей Кириллович убедительно развеял заблуждение относительно Екозерского говора, который совершенно неосновательно относили к Бабинскому диалекту, в то время как он плоть от плоти Кильдинского.

Когда рассаживались у печки на своих привычных местах, сначала все сидели молча. Жар из открытой топки, как жертвенный огонь, и согревал, и очищал мысли и душу от будничных забот. Отсветы живого пламени чуть румянили щеки, освещали их лица и зажигали огоньки в глубине глаз. Такими похожими друг на друга их никто никогда не видел.

Светозар всей полнотой своей страждущей души просто вкушал счастье, прижимался к родительским коленам и ждал, когда отец начнет рассказывать.

Серафима Прокофьевна смотрела на живую пляску огня, на языки огня в печке, вздрагивала от револьверного, как ей казалось, треска сосновых дров, боялась, что выскочивший уголек попадет сыну в лицо, и думала о том, что именно этот огонь выжигает в ней память о первой жизни, о первом замужестве, таком тяжелом, перегруженном и подлинными невзгодами и ненужным повседневым вздором. Ей уже начинало казаться, что она вспоминает какую-то чужую жизнь.

Это был тот самый отдых в конце пути, о котором ей говорил Алдымов, согревая своим телом в холодной теплушке. И как хорошо, что тогда, тринадцать лет назад, в свои тридцать семь, она не утратила способность любить, не испугалась быть любимой.

Лишь встретив Алексея Кирилловича, она узнала, что мужчина в жизни женщины это не тягостное испытание, не испытание пределов терпения. Этот немолодой ученый с вздыбленной густой шевелюрой и аккуратно выстриженными округлыми усами и бородкой, прикрывавшими свежее, не по годам молодое лицо, казалось, не прилагая никаких усилий, умел оградить ее от всех житейских трудностей и забот. Занятый выше головы, сначала в мурманском Губплане, потом в краевом музее и множестве каких-то комиссий, он умудрился взять ссуду и уже на второй год их общей жизни приступил к строительству вот этого дома на каменистой улице Красной, расположенной на второй береговой террасе, если считать от залива. Еще со времен бурного заселения города в начале 20-х годов это место, откуда был виден весь Мурманск, расплзшийся вдоль берега, именовалось «колонией». Дом вырос, словно сам собой. Год прожили в вагоне, прямо на станционных путях, а после рождения Светозара в тесной комнате в переполненном бараке. Пеленать сына приходилось, согревая своим дыханием самодельный шалаш из одеял, на подобие саамской кувасы, так было холодно. После всего, что пришлось перетерпеть, свой дом казался просто дворцом. А главное, печь! После вагонной буржуйки, источавшей кислый запах тлеющего каменного угля, злосчастной американской «керосинки» и чадящей плиты в бараке, печь, согревавшая разом весь дом, была истинным чудом, никакого дыма, и хватало всего пары небольших охапок по пять-шесть поленьев на то, чтобы в умеренные морозы в доме два дня держалось тепло.

– Светик, а ну-ка скажи, как на духу, у тебя в школе прозвище какое-нибудь есть, или не достоин? – однажды спросил Алексей Кириллович.

– Меня в школе «лопарем» зовут... – со вздохом признался Светозар. Ловко орудуя кочергой, он переложил головню на еще не прогоревшие сосновые поленья и уперся подбородком на поставленную перед собой в упор железяку.

– Вот как!? Это за какие же такие заслуги? – отец потрепал сына по голове.

– Это не за мои заслуги, а за твои. Рейнгольд Славка и Севка Валовик говорят, что твой музей только лопарями и занимается.

– А они хотят, чтобы мы кем занимались? – спросил отец.

– Они говорят, что пока не пришли сюда русские, Мурман был краем диким и мертвым... Смех отца прервал сына.

– Давно пора ваш класс снова к нам в музей вытащить, а еще лучше, мне у вас в школе лекцию прочитать. Да, серьезное упущение. Во-первых, лопари это скорее прозвище, данное саамам загнавшими их на край земли финнами. А заниматься ими надо, и безотлагательно. Все дело в том, сыночка, что каждый народ на земле несет в себе какую-то частицу всей правды о человечестве. Саамы хранят тысячелетний уклад и тысячелетнюю мудрость своего народа и своей земли, а сейчас настал для них трудный час, или – или... Нужно по возможности понять и обязательно сохранить саамское племя, пока они еще похожи на самих себя, пока еще не стерлись в неразличимую неопределенность их дух, их ощущение жизни.

– Пап, но по сравнению с нами, смотри, у них нет ни техники, ни науки, они же слабенькие, – сказал Светозар.

– Были бы, как ты говоришь, слабенькие, не выжили бы. Стало быть, сильны, только другой, не нашей силой. Человек обретает все большую и большую силу, и становится просто опасен. Пора думать, чем эту опасную силу можно смягчить.

– И чем же? – спросила Серафима Прокофьевна.

– Известно. Культурой. Нет никакого другого смирения для обуздания дикой силы в природе, и в человеческой природе тоже.

– Алеша, если уж речь о культуре, – негромко сказала Серафима Прокофьевна, – может быть надо поспешить с их переселением из этих дымных и нечистых берлог в нормальные дома...

– Для нас с тобой, Сима, нормальный дом это одно, а для кочевого народа нормальный дом как раз такой, который можно собрать, погрузить на сани и в путь!

– А разве оседлый образ жизни не прогрессивней кочевого? – блеснул школьной премудростью Светозар.

Давай сначала разберемся с прогрессом. Придумали на место старого бога нового – прогресс. А это уже не один бог, а много. Есть прогресс в материальной культуре, в обустройстве жизненного обихода. Это одно. Есть прогресс в социальном устройстве общества. Это другое. А возьми прогресс духовной жизни. Здесь все уже не так и просто. А ведь есть еще прогресс в человеческих отношениях. Здесь история прогресса сильно замедляется. От людоедства вроде бы ушли, рабство осудили. Прекрасно. Но почему же тысячи лет одна жестокая эпоха сменяется другой, и снова жестокой. Почему возлюбленный прогресс оплачивается нарастающим числом жертв? Так куда же мы движемся? Может быть, задуматься.

– Ты о судьбах человечества, а я о тех, кто рядом сейчас живет. И как врач как раз хочу самого скорейшего изменения жизни лопарей, ты же видел, как они живут, а в каких условиях рожают, – сокрушенно проговорила Серафима Прокофьевна.

– Ты права, но мы говорим о разных вещах. Я занимаюсь саамским букварем с полным сознанием того, что он позволит им сохранить свою неповторимость в этом мире. В истории едва ли не каждого народа наступает пора, когда он приближается к грани, за которой лежит утрата своего неповторимого лица. Иногда этот переход растягивается на века, иногда происходит в исторических мерках почти в одночасье. Время, нужно время, чтобы разгадать этот совершенно удивительный народ. И если они себя ни кому не навязывали, не требовали чтобы кто-то еще жил так, как испокон веков живут они, это не значит, что их жизнь не часть мировой истории и культуры. А, по моему убеждению, это драгоценный исторический опыт. Но историю пишут народы-завоеватели, огнем и мечом утверждающие свой взгляд на мир, свои правила жизни. Сильнейшие почитались лучшими. Какое заблуждение! У Клио девушка беспечная, стирает с карты мира целые народы. Где печенег? Историческая память сохранила их кровавые подвиги, после чего они исчезли так, что и следа не найти. А финикийцы, владевшие всем Средиземноморьем? Безраздельные владельцы! Где они? Остались предания о солеварнях, первых морских судах, остался мертвый язык, на котором некому разговаривать. Да, конечно, Карфаген, Ганнибал, Пунические войны, битва при Милах, битва при Каннах... Когда римляне овладели Карфагеном, они вырезали пятьсот тысяч!.. Приврали, надо думать, но приврали для славы, чтобы потрафить все той же Клио, обожающей душек-военных. А в Библии? Самсон ослиной челюстью побил две тысячи филистимлян. Ай, да молодец! Памятник и ему и бессмертная слава. И ни слова о том, что умирать одинаково страшно всем, будь ты филистимлянин, финикиец или печенег. Логика истории? История так многообразна, что каждый может видеть в ней то, что хочет. Почему же не обратят свой взор к народам мирным, не искавшим себе славы в лужах и морях крови? Они разве не по «логике истории» появились на свет? Извольте познакомиться, – саамы, они же лопари. В их преданиях нет подвигов душегубства, нет хвастовства завоеваниями. Это ли не достойно изумления и глубочайшего почтения? Жизнь саамов это древнейшая, не менявшаяся, быть может, тысячелетия жизнь, доставшаяся нам не в преданиях и документах, не в памятниках, а въяве. Наблюдая эту жизнь, размышляя о ней, мне пришла в голову совершенно безумная, но, кажется, счастливая мысль. Ты говоришь, Сима, что у них нет школ, нет больниц, – глядя перед собой, произнес Алексей Кириллович, хотя Серафима Прокофьевна ни о школах, ни о больницах не говорила, – но у них нет, и не было, судов, у них нет, и не было тюрем! Три тысячи лет без тюрем, без полиции, без насилия! Что такое история? Это история властителей, вождей, князей, ханов, королей, царей. И у каждого стража, у каждого дружина, войско, чтобы диктовать свою волю, подавлять, понуждать к покорности. Как это, в конце концов, однообразно и скучно. Саамы, может быть,

один из немногих народов, чья тысячелетняя история не написана кровью! А как они относятся к женщине? Жену зовут только ласковыми именами, за обедом лакомый кусок ей, первый глоток рома – ей. Жена и дочери едят со всей семьей и с гостями. У горделивых кавказцев женщины только прислуживают за столом джигитов. А женщины в Персии? Уж я повидал. Заживо погребены под чадрой, платками, шальями, спрятаны за дувалами и за стенами гаремов... Лопарь приходит в гости и кланяется сначала хозяйке. Чем вам не отменный петербургский стиль! Отвечая вам, он смотрит на хозяйку, точно разговаривает с ней по старшинству. Жестокие правила Востока охраняют женщину от неверности. Но супружеская неверность у саамов дело неслыханное. Я говорил с Ловозерским священником, еще до его ареста, за пятнадцать лет его служения в Ловозерском приходе ни одного незаконнорожденного, ни одного внебрачного ребенка. Ты говоришь, как убоги у них жилища. Да, в деревянной примитивной топе живут несколько семей. Они не тяготятся этим соседством и не стремятся к уединению. Наши коммунальные квартиры это наша беда, испытание, если не пытка. А они еще и гостей норовят к себе заманить. Как они говорят? «Кого бог полюбил – тому гостя послал». «Страннику дал – на промысле в десять раз взял». «Путника накормил – десять лет голода не будешь знать». Чем больше народа в топе, тем хозяин счастливей. Такая сближенность, тяготящая нас, у них, быть может, основа чувства родства и единства. И родство это подлинное и действенное. В русских деревнях, в общинах, какое дело самое конфликтное, и с подкупом, и с дракой, и с обидой и затаенной из рода в род враждой? Дележ наделов. Кому какой покос, кому какой выпас, кому какой клин?

Саамы сотни лет, до появления здесь нас, делили промысловые угодья и пастбища для тысяч своих оленей. Каждый погост имеет свой надел. В чужом наделе промышлять нельзя. Это закон. Нельзя! И баста! Его все знают, и никакой милиции-полиции, никаких судов, никаких межевых столбов и рубежей. «Воловьи Лужки наши!» «Нет, Воловьи Лужки наши!..» Им этого не понять. Надел каждого погоста распределяется между семьями. Делят все, озера, реки, пастбища, луга, все, исключая горы. Все горы общие. Кто решал? Распределяют зимой, когда все саамы на своих погостах. Решали на суйме, решения справедливые и безапелляционные. Большая семья – большое озеро, маленькая семья озеро поменьше. Лапландец сознает, что он не собственник угодья, он им пользуется временно, по приговору своего общества. Собственность не делает его ни жадным, ни злым, они не знают слова алчность. Богатство и бедность это наши понятия. Лопарь, имеющий двадцать тысяч оленей и две сотни оленей, живут примерно одинаково. В двадцать седьмом я познакомился с Семеном Бархатовым, двадцать тысяч оленей. Ветхий тулупчик из оленьих шкур. Тобурки на босу ногу. В топе у него такие же, как везде, нары, разве что оленьих шкур на них постлано потолще. Та же посуда из бересты, правда, два-три лишних чайника, да несколько норвежских каменных кружек, – вот и все богатство. Свобода от собственности! Революция сбила эти цепи с душ человеческих, а у них и не было этих цепей. Идеал античного философа – все свое ношу с собой! Это ли не достойно удивления и уважения. А где нет владычества собственности, там нет господ. Могут сказать, дескать, господа бывают разными, получше, похуже, глупые, умные, добрые, злые, бог им судья, но главная беда, что они плодят и плодят рядом с собой отвратительную породу завистливых трутней. И наши славные саамы были свободны не только от господ, но, что не менее важно, среди них не зародилось пакостного племени «при господах». Эта публика пострашней чумы! Знаешь, Светик, сколько было стольников у вдовствующей царицы Прасковьи?

9. У камелька о наследстве царицы Прасковьи

– Что еще за Прасковья? Когда она правила? – поинтересовалась Серафима Прокофьевна.

– В том-то и дело, что она даже не правила, а двор у нее был, да еще какой! Это жена Ивана V, злосчастливого брата Петра Первого. Следа по себе ни этот Иван, ни пережившая его супружница не оставили. Так вот у этой царицы Прасковьи одних стольников числилось двести шестьдесят три персоны! А кроме них тунеядствовало еще и алчное племя ключников, подключников, подъячих, стряпчих, а еще немало было и полезной челяди вроде истопников, сторожей, скотников, конюхов... Ну, были и, как говорится, сплыли, что о них вспоминать? Нет, как раз забывать нельзя. Они-то, в отличие от Прасковьи, след оставили. Что это за народ, вся эта несчетная челядь при господах? За крохотным исключением, а без исключений и правила нет, вся эта армия, а это уже сословие, речь не только о прасковьиной дворне, выработала определенного рода человеческий тип. Что это за люди? Это люди, для которых труд созидательный, труд продуктивный, ремесленный, промышленный, даже торговый, а пуще всего конечно крестьянский, страшней господских плетей на конюшне и пощечин и подзатыльников в горнице. Холопье племя – страшные людишки. А уж как они дорожили и как гордились своим местом «при господах», как на «мужичье» посматривали! Саамам это чуждо, для них это дикость! Не знали они соплеменников, боящихся труда, желающих пожить за чужой счет. Труд у них в почете. Лучший добытчик зверя получает звание «трудник»! Герой труда! А этим, стольникам, спальникам и подключникам, страшно быть низвергнутым на крестьянский двор, к сохе. Хоть под лавкой, да на господской кухне. А ради этого они угождали и угодничали, интриговали, лебезили, строили козни, соперничали в «забегании» перед господами. И каждый мечтал вымолить у Бога, да выслужиться у господ так, чтобы и самому раздавать затрепщины. А вот бедные саамы не знали этого искусства угодничанья перед господами. Не знали они радости удачного наушничества, ловкого доноса, слов-то таких не знали. Нет у них в словаре таких слов! Не знали радости от подножки, подставленной сопернику в борьбе за теплое местечко. Казалось бы, ну ищут людишки теплого местечка, и, как говорится, Бог им судья. Да нет! Они-то и есть подлинные воспитатели деспотов всех калибров, от кухонных до дворцовых.

– Ну, какие ж они воспитатели? – простодушно удивилась Серафима Прокофьевна.

– А как же! Усыпленный ласкателями, подхалимами, угодниками властелин в любом самостоянии видит дерзость, непокорство, бунт, требующий с его стороны мер жестоких. И меры эти с радостью берутся исполнить все те же холопы. Злое дело легко начать, остановить трудно, а уж исправить...

– Почему трудно? – спросил Светозар, которому частенько приходилось «исправляться». Он знал, что принужденный признаться в какой-нибудь своей проказе, или вранье, иногда и поревев, в конце концов услышит от отца: «Преступники изъявили раскаяние, а государь – милость», и можно будет жить дальше.

– Потому, милый друг, что всякое большое зло выдает себя за благо, за необходимость, даже требует почитать себя «пользой». И чем больше зло, тем больше оно требует, чтобы почиталось это зло благом. К сожалению, люди преуспели в оправдании самых скверных дел. Потому властители и ждут грубой лести. Для этого и нужна, в первую очередь, лстящая челядь. А уж кто пронырством ли, удачей выбьется в господа из конюхов, трубочистов, спальников и подключников, тоже начинает плодить вокруг себя угодливую тварь всякой пробы! Каждое время, каждый уклад вырабатывает людей определенного качества. Больше того, задает тон, возникает потребность в определенном сорта людях. «Времена господ» неизбежно порождают племя, для которого не существует никаких своих твердых, незыблемых представлений о том, что такое хорошо и что такое плохо. Для них истина – хозяин.

– Так это, как у собак... – выдохнул Светозар и посмотрел на отца.

– Соображаешь, сынок, верно. Исторический материализм предлагает смотреть на историю, как на продукт классовой борьбы. Почему бы нет? Но вот вопрос, откуда и рабовладельцы, и феодалы, и буржуазия, и ... – здесь Алексей Кириллович остановился, и продолжил, – скажем, так, хозяева жизни, рекрутировали, то есть набирали себе помощников для самых неблагоприятных дел? И как мне кажется, я даже убежден, что источником, неиссякаемым резервом людей для неблагоприятной службы как раз и была эта человеческая глина, которую представляли люди «при господах». И, что самое интересное, со временем они сами стали, с их моралью, вернее, без морали, сильнейшей властью, сравнимой с высшей. Две тысячи лет над миром звучат христианские проповеди. Где они тонут? Почему же за две-то тысячи лет они не стали основой жизни? Где же государства и страны, живущие по-христиански, что-то не видели их, и до сих пор нет. Почему? Да потому, что слово господина оказывается весомей, дороже и действенней, чем слово Господне. Откуда же это невероятное лицемерие, на словах исповедовать одно, а жить по другим правилам? Как же душа-то обращается в материю, из которой умелые руки лепят все, что им угодно и потребно? Вот оно, наследие княжеской, боярской, господской челяди. И апостолов их потаенной веры кругом пруд пруди. Только саамов среди них нет. Вот у кого поучиться жить по совести. У них, к примеру, нет тайн друг от друга. А разве не тайна лежит в начале любого дурного поступка? Самые зловещие организации добавляли в свое название как раз словечко «тайный», тайная канцелярия, тайная полиция, тайное общество, тайная дипломатия... А коммерческая тайна? Это же для того, чтобы или обжулить покупателя, или обойти конкурента. А вот еще. Их жизненному обиходу, практике чужда рассудочность. Жители тундры в большей мере полагаются на свои чувства. Саам воспринимает пейзаж не так, как мы, то есть не только зрительно, он питает его душу и мысль. Механика чувств интереснейшая и сложнейшая вещь. Саам живет в большей мере чувствами. И что замечательно, вовсе не чувство голода, страха, любовного влечения, роднящие человека и животное, доминируют в их жизни. Чувство дружбы, привязанности, любви, чувство долга перед стариками и детишками, именно эти чувства сообщают всю полноту их подлинно человеческому существованию. Рассудочность порождает дистанцию, как бы отстраняет нас от предмета, о котором мы рассуждаем, будь это человек или явление. Чувства, напротив, сближают, соединяют куда прочнее, чем мысль. Все лучшее, что создано на земле, продиктовано, порождено высокими и бескорыстными чувствами. Да и кто сказал, что наши чувства глупее нас? Цивилизация, основанная на частной собственности, цивилизация, начертавшая на своих знаменах: «Барыш! любой ценой», «Власть! любой ценой», «Роскошь!», «Честолюбие!» «Превосходство над другими!», а еще «Праздность!» «Эгоизм!», и снова «любой ценой», – такая цивилизация обречена. Мне это ясно, как простая гамма! Угодничающее перед властью и деньгами мещанство, гипертрофированное, самодовольное, самовлюбленное, готовое возвести себя в прел создания... Это же тупик! И это умным людям было очевидно еще в начале прошлого века. Все, что предсказывал совестливый Герцен, страждущий за человечество Достоевский, объявивший наступление «эпохи гривенников», все подтвердилось и подтверждается ежедневно по всему свету. Я вижу, как много у нас неправильного, нездорового происходит вокруг, но чувство мое подсказывает, что мы на верном пути, мы ищем новые смыслы, ищем что-то утерянное... Может быть, не там ищем?

– Мы со Светиком ждем, когда ты нам свою безумную и счастливую мысль поведаешь, а ты, знай, своих любимых саамов нахваливаешь, – напомнила Серафима Прокофьевна, обняла Алексея Кирилловича и положила подбородок ему на плечо.

Уже не отблески от пляшущего на поленьях огня, а еще и внутренний свет озарил лицо Алдымова. Он сдержал улыбку. – Как-то мне пришла в голову простая мысль... Удивительно простая. И только потом, по размышлении, я понял, что эта мысль дорогого стоит. В саамах нет начала воинственного, разрушительного...

– А что, что они создали? – нетерпеливо спросил Светозар.

– Об этом и речь! Человека! Они создали человека, каким ему надлежит быть! Да, их уклад, скорее всего, соответствует картине, именуемой в исторической литературе первобытный коммунизм...

– Па-а-ап, но коммунизм это же, когда все у всех будет и будет полно. А саамы это ж такая беднота, а ты – коммунизм, – усомнился Светозар.

– Во-первых, мой милый Светик, коммунизм – это, прежде всего, особая форма человеческого сообщества, исключая насилие. Это общий труд и общее пользование результатами труда. А еще это особая форма отношения человека к природе, тоже исключая хищничество и насилие. Социализм и мещанский рай вещи разные. Любую идею можно опознать.

– Сейчас ты нас в правом уклоне начнешь подозревать, – улыбнулась Серафима Прокофьевна. – Ты уж нас не пугай.

– Относительно коммунизма в головах, Сонюшка, нынче страшная путаница. А призрак коммунизма на самом-то деле бродит по Европе с незапамятных времен, раньше, чем это заметили Маркс и Энгельс. Итальянцы жили в коммунах в те времена, когда у нас еще и крепостного права не было. Человечество ищет, ищет, пытается найти формулу спасительного общежития. Нельзя подгонять мечту человечества под примитивный мещанский идеал. Разумеется, в будущем жизненные потребности, и куда более широкие, чем у современных саамов, будут удовлетворяться сполна. И все-таки суть коммунизма это не насильственное сообщество людей и не насильственное отношение к природе. И свобода от рабства собственности. Вот эти три качества как раз и составляют существо жизненного уклада саамов. Их коммунизм не идеологичен, он стихийен, это исторически сложившаяся форма бытия, обеспечивающая их выживание на протяжении многих веков в суровых условиях, но без войн и вражды. Это чудесный, удивительный народ! Казалось бы, их так мало, они предназначены к вымиранию. Но их численность стабильно сохраняется. Это чудо. Скелет у них слабее, чем у финнов и норвежцев, но они выносливее, лучше переносят лишения и все напасти полярной зимы. И совершенно не показная независимость, самоуважение. Мы народ порченный. Нам ужасно важно знать, как мы со стороны смотримся, что о нас другие подумают и скажут. А вот саам от чужого мнения не зависит. Вот подлинный аристократ!..

– Похвалил! А то мы не видели аристократов! – проговорила Серафима Прокофьевна. – Аристократ знает себе цену и всем своим видом дает понять, что цена эта не малая...

– Aristos! Лучший. Аристо-кратия. Власть лучших. А наши? Если они такие хорошие, почему ж народ не бросился на их защиту? Скажут, по темноте, по дикости. Хорошо. А кто же держал их в темноте и дикости? Древний Рим. Патриции. «Патриций» от «патрон», «покровитель». Ромул, придумавший это звание, давал его тем, кто опекал бедных. Этого звания были достойны лишь первейшие и сильнейшие, опекавшие народ. И что же? Где они, «опекающие народ»? «Патриции» давным давно забыли, что значит их звание. Только о себе и только для себя! Процесс этот называется – вырождением. Лучшим нельзя родиться. Лучшим нельзя назначить. Лучшим можно только стать. Идет журавлиный клин, лебединая стая, над морем сутками идут, и первому трудней всего. Что заставляет встать первым? Что заставляет сменить вожака, а они в полете меняются, одному не выдержать? Значит, этот комок перьев каким-то неведомым нам чувством, а может быть, как раз нам-то и ведомым, сознает – я лучший, и идет вперед, берет на свои крылья удар встречного ветра. Вот и у саамов никаких князей, бояр, родовой знати... Я вижу, ты устал, я заменяю тебя...

– Но кто-то должен быть во главе, кто-то должен принять решение, когда, к примеру, начать кочевье, когда идти на охоту, где разбить становище... Надо как-то и неизбежные житейские ссоры и споры разрешать... – мечтательно, словно сквозь пелену каких-то своих далеких от саамов мыслей, спросила Серафима Прокофьевна.

– Вот это и достойно удивления! Старший, ведущий у них не тот, чьи предки были когда-то сильны и безжалостны, не тот, кто получил богатое наследство, а тот, кто силен и разумен сегодня, сейчас. И удивительна способность этих людей признавать не силу, не власть богатства, а правоту... Они чувствуют правду жизни самым своим естеством. Мне иногда кажется, что они само порождение земли, тундры, в них нет и примеси лукавства, криводушия, злобы, как их нет в ягеле, в березе, в бруснике или морошке...

– Алеша, слушаю с ужасом, – вдруг отвлеклась от своих дальних мыслей Серафима Прокофьевна, – разве можно людей зачислять в ботанику? – она прижалась к плечу мужа, словно готова была искать у него защиты и от него самого.

– Серафима, почти София, где же твоя мудрость?! – с нарочитым пафосом воскликнул Алексей Кириллович, а Светозар запрокинул голову, чтобы увидеть мамино смущение. – Я говорю о чуде. Кто знает, может быть именно саамы даны человечеству, как ответ на самый тяжкий вопрос: может ли выжить на Земле не воинственный, мирный народ? Или борьба за существование – это кровавое проклятие над родом человеческим? О них так мало известно, что иногда я начинаю выдумывать их древнюю историю. Может быть, саамы это потомки великого народа, уставшего от войн и битв, от кровопролитий и душегубства. Может быть, они первыми в мире поняли, что убийство не созидательно, в конечном счете, бесперспективно. Господство человека над человеком, угнетение, эксплуатация и не достойны человека и не плодотворны. Я не зря вспомнил о журавлиной стае, они живут по каким-то схожим законам. Они отдали все блага так называемой цивилизации за право жить, не убивая, не подавляя других, не зарясь на чужое богатство, не завидуя и не ревнуя к чужой славе и почестям. Египет, Греция, какие-нибудь инки создали великую культуру, вписали удивительные главы в историю человечества и не сумели выжить. Пирамиды, каналы, Колизей, висячие сады, удивления достойные творенья рук человеческих, но рядом с чудом жизни это так немного. Все эти творения можно и повторить и превзойти. Нельзя лишь повторить прерванную жизнь. Нельзя превзойти чудо жизни. Вот почему для меня история саамов куда важнее, значимее, чем загадка египетских пирамид. Кстати, в преданиях саамов поминаются пирамиды. Бог даст, и найдем. Но самая большая загадка в том, как они умудрились выжить, выжить на протяжении многих сотен лет. Это единство земного, природного и человеческого, какого я не встречал нигде. Они действительно верят в то, что происходят от оленей, что между ними прямое кровное родство. Они живут как боги! Чем боги отличаются от людей? Боги выше своих желаний. Саамы не хотят чужого, где такое в мире еще видано? Не хотят еды больше, чем могут съесть. Одежды больше, чем могут сносить. Их обычай дарить своих оленей доводит иных до разорения, но они не погибают, живут. Язычество как религия повсюду отмечена жестокостью. Кровь в жилах стынет, когда читаешь, как жрецы по мукам обреченных на жертвоприношение людей предсказывали будущее. Его распинают, режут, пронзают копьями и стрелами, а рядом стоит этакий специалист и с видом знатока по воплям и корчам мудрствует о здоровье фараона, перестанет у того болеть голова, и если перестанет, то как скоро.

– Ужас! – не выдержала Серафима Прокофьевна.

– Так же и будущее угадывали. А уж мучить во славу грядущего благоденствия никогда не считалось ззорным. Авраам с вознесенным ножом над сыном тоже, Симушка, сценка для крепких нервов. А вот саамы не знали этого зверства.

– Все равно мне их ужасно жалко, – сказала Серафима Прокофьевна.

– Люди делятся, как я заметил, на две неравные половины. Одним своя ноша житейская кажется самой тяжелой, и они стараются ее на кого-нибудь спихнуть. Другие же видят, что бремя человеческое, доставшееся другим, несравненно тяжелее. Тебе, Сима, всех жалко.

Алдымов замолчал.

– Па-а-ап, – после долгой паузы спросил Светозар, – а вот для чего все это создано? Весь мир. И Земля, и Солнце, и звезды, и то, что за звездами, все, все, все...

– Спросил! Думаешь, мы до утра будем у печки сидеть? – улыбнулась Серафима Прокофьевна.

– Правильно, сыночка, ибо человек, не задающий вопросов, подобен траве! Но ты, братец, хитер. Человечество, может быть, десять тысяч лет над этим вопросом бьется, а ты увидел, что печку пора закрывать, и подкинул вместо дров вопросик! Нет, нет, дров больше не подкладывай. Я тоже задавал себе этот вопрос, и вдруг представил, открываю утром номер «Полярной Правды», а там, на первой полосе, сообщается: советские ученые открыли не только устройство мироздания, но и достоверно узнали, когда и для чего создана Вселенная, галактики и весь космос в целом, для чего на свете рождаются люди и для чего умирают. «С сегодняшнего дня наступает ясность на все времена, пришедшие и грядущие. Обращайтесь за справками, желающие узнать, что когда случится, кто когда родится и кто когда умрет». Как только я себе это представил, так мне почему-то стало скучно. Будто в интересной книжке тебе сразу сообщили, чем дело кончится. Я думаю так, поскольку начала мироздания человечеству ни видеть, ни знать не пришлось, скорее всего, и конец обозримого мира наступит не при нас, то вопрос твой, хотя и важный, вовсе не первоочередной. У человечества еще уйма времени, чтобы искать ответы на любые вопросы. А у отдельного человека не так и много. Вот и думай своим умом, зачем пришел в этот мир? Покопаться, поболтаться, поесть, попить, поразвлечься, вкушать меда, испить от виноградной лозы непеременившейся, и – сгинуть! оставив после себя изношенные ботинки, порванные штаны и невымытую посуду. Может быть, все-таки человеку дается жизнь для чего-то путного, дельного? Вот и ищи свой путь, ищи свое дело. И на этот самый главный вопрос: для чего я, именно я пришел в этот мир, должен отвечать каждый сам. И только сам. Почему сам? Да потому, что на все вопросы у человечества уже заготовлено по два и больше ответов, так что, приходится выбирать. Притом, что ответы, как правило, прямо противоположные.

– Ну, например, – нетерпеливо сказал Светозар.

– Пожалуйста, сколько угодно. Прибегнем к несомненным авторитетам. Библия вековой авторитет? Еще бы. И Евангелие тоже. В Библии мудрейший Соломон провозглашает: не унижайте себя, если ты мудр, чтобы благодаря унижению не впасть в глупость. Убедительно? Вполне. А вот Евангелие от Матфея: кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысится. Вот и выбирай. А пока возьми кочергу, разбей вот эти две головешечки. Я сейчас угольков в самоварчик закину, и попросим у добрейшей Серафимы Прокофьевны нам сухариков к чаю.

Они еще не двинулись с места, сохраняя общее тепло, когда в окно негромко постучали.

Серафима Прокофьевна подавила вздох, случайные гости, увы, были делом хотя и привычным, но все-таки для хозяйки обременительным. Сколько народу знало Алексея Кирилловича, скольких знал он, все могли в любое время, в любой час постучать в дверь, или в светящееся окно и знать, что дверь отворится.

– Ставь самовар, вот и гости... – сказал Алексей Кириллович и пошел в сени открывать.

Через минуту он вернулся в комнату, держа за плечи молодую женщину в сбившемся платке и беличьей шубке. Казалось, что Алдымов не ведет, а несет ее, и если разомкнет руки, она тут же просто осядет на пол.

– Катюша, что случилось? – с тревогой спросила Серафима Прокофьевна и обняла вошедшую невестку, словно приняла ее из рук мужа. – Что случилось?.. Где Сережа?

– Сережу взяли... Я не могу там ночевать... Я не могу...

Кровь отхлынула от лица Серафимы Прокофьевны.

– Куда взяли? – спросил Светозар.

– Иди, Светик, спать, поздно уже, – глаза Алексея Кирилловича и сына встретились. Отец испытал чувство беспричинного стыда, зная наперед, что не сможет ответить сейчас на вопрос

сына. Ему даже не приходили на ум простые в таких случаях слова: «Ошибка. Разберутся. Отпустят. Все выяснится. Случайность...» И все в таком роде. Он знал, что давно уже не может ответить на свой вопрос, почему среди ночи кто-то «ошибочно» может войти в твой дом, взять тебя, как барана из стада, и куда-то увести. Он посмотрел прямо в глаза сыну с тайной надеждой на то, что у того достанет милосердного разума больше не задавать вопросы.

– Спокойной ночи, – тихо произнес Светозар, почувствовав, что стряслась беда. Он оглянулся на тетю Катю и пошел в свою комнату даже с охотой, тайно надеясь, что утром, как бывает после худых снов, все снова будет хорошо.

10. Человек в простой шинели

Есть люди, неизвестного назначения и потому никакому назначению не соответствующие, не имеющие назначения вообще. Вот они-то как раз и оказываются пригодны на все случаи жизни, но почему-то по преимуществу прискорбные. Да, это совершенно особый род и вид человеческой породы, это люди, несущие ярем рабства так легко, что, кажется, вовсе его и не замечают. И самое замечательное, что в этом своем состоянии, которое другим было бы в тягость, а то и позор, они умудряются быть самодовольными, горделивыми и даже надменными. Этим людей, так или иначе, готовят для исполнения самых неожиданных дел. Интересно, что в ходе такой подготовки им сообщаются сведения о разного рода человеческих добродетелях, о дружбе, верности, как говорится, любви к ближнему. И сообщаются эти сведения словно для того, чтобы они сумели испытать ни с чем не сравнимое чувство своей значимости, исключительности, свободы, когда им скажут: ты можешь все! и делай, что сказали!

Быть может, метафизическим знаком этих людей могла бы служить *вода*, способная, как известно, принимать форму сосуда, в который бывает помещена. Это с одной стороны. С другой же стороны, *вода*, предоставленная сама себе, будет стремиться вниз, вниз и вниз, где соединяется с подобной же себе...

В то время, когда настоящие партийцы проходили жесткую партийную чистку 1925 года, прошел чистку и невзрачный батрачок Ванька, служивший за харчи по разным дворовым разъездным делам у крепкого мужика Ульяния Хритова. Кроме того, Иван пас своих, то есть Хритова, коров и посторонних. В сложной ситуации, во избежание «твердого задания», Хритов решил по налогообложению перейти в разряд «без наемной силы», а поскольку силы в Ваньке было не шибко много, то без него можно было и обойтись и таким образом увильнуть от неминуемого зачисления в кулаки. Чистку у Хритова Ваня прошел быстро. «Вот – Бог, а вот порог», – сказал Ульяний и попросил Ваньку Михайлова со двора убраться. С пустыми руками ушел от Ульяния Хритова Иван да с занозой в сердце, глубокой, мстительной, так там на всю жизнь и оставшейся. Пропасть бы Ваньке, но подобрал бывшего безупречного батрака комсомол. Здесь пришлось тоже пройти чистку, поскольку Ванька, было дело, дорожа местом при Ульянии Хритове, говорил слова в поддержку крепких хозяев...

Сегодня мл. лейтенанту госбезопасности смешно было бы читать выписки из протоколов волкома, где он отвечал на вопросы о религии и об отношении к колхозам. «Я лично в церковь не хожу и икон не признаю, это для меня ничего не составляет. А насчет матери и брата, то я не отрицаю, в церковь ходят, но драться с ними на этой почве я не желаю. Насчет разлагательской работы в колхозе, то я не разлагал, это не верно». Ответ удовлетворил. Худо-бедно, а взяли возницей в агитпроп волкома, волостного комитета. Повозил агитаторов по волости, наслушался, как надо с массой работать, и сам стал восполнять в меру своих сил и малой грамотешки нехватку агитаторов. По причине политической еще незрелости некоторые вопросы проваливал, даже на бюро просили объяснить, почему стоило Михайлову объявить в Старокаменке неделю борьбы с безграмотностью, как мужики тут же стали закупать водку. Зато сумел отличиться во время кампании по заготовке мешкотары. И, если поначалу, вразумляя неразумных мужиков, говорил: «Вы *дискредитируете* дело партии!», то уже через полгода без запинки выговаривал «дискредитируете». Заметили. Оценили. Подурачили. Направили в милицию. В милиции Ванька споткнулся, да так, что мог и не подняться. Оказалось, что собранные в Лыськово, Нерезжского уезда, штрафные деньги сдать забыл. Но на собрании волостного Адмотдела, где уже хотели гнать Михайлова Ивана в шею из рабоче-крестьянской милиции и отдать под суд, поднялся старший опер Гурачев и сказал сильную речь. «Наш товарищ Михайлов вышел из батраков невоспитанным и попал в милицию, где над ним не было взято пра-

вильное руководство. Занимались мы воспитанием человека бывши забитого? То-то и оно! Пропавшие деньги как умышленной растратой признавать нельзя. Может, он их истратил на необходимые нужды, надеясь заложить жалованьем. Куда его? Выгоним обратно к кулакам, в которых он жил раньше?..» И все в таком духе. Голос у Гурачева был громкий, стало быть, убедительный.

А тут как раз поспела кампания по мобилизации переменников на общий сбор.

Армия в 20-е годы устраивалась то ли из бедности, то ли подчеркивая относительную независимость республик, вошедших в Союз, по территориальному признаку. Немногочисленный постоянный состав время от времени пополнялся переменниками, набравшимися из жителей своего же военного округа. Так что армия не была чужеродной силой для данной местности. Кулаков, зажиточных и лишенцев к армии не подпускали. Красноармейская казарма была в то трудное время местом теплым и довольно сытным. Тяжелого труда и особенной муштры не было, зато учили читать, учили писать, рассказывали об устройстве мира, показывали глобус и подтверждали картой полушарий, читали газеты и книги. Приобщали к политической грамоте тоже. Время пролетело быстро. Ванька был уверен, что его место в армии. Ему нравилась и форма, и уважение к красноармейцу, и отдавание чести, воинское приветствие, и возможность ходить во всем казенном. Не то, что в сравнении с батрацкими мытарствами и скудной и тяжелой крестьянской жизнью, но и в сравнении с милицейской службой армейская жизнь была, ох, как по душе красноармейцу Ивану Михайлову. Из всех родов оружия самым безопасным и авторитетным, как он понял, были агитация и пропаганда, и быть политбойцом стало мечтой Ивана. Увы. Отзывы на красноармейца Михайлова были составлены к концу сборов начальником Особого Отделения ОГПУ при 29-й стрелковой дивизии т. Пейзнером, по представлению помполита 112 полка т. Войто. Опустили т. Пейзнер и т. Войто заплот перед военной карьерой размечтавшегося политического бойца. Приговор был жестким: «Политически слаб. Коммунистически выдержан». Что это значит, в переводе с политармейского языка на общедоступный? Не умен, но исполнительен. Когда Михайлов узнал, что из армии его возвращают в первобытное состояние, была даже мысль застрелиться.

Но передумал и написал, умышленно умолчав о своем милицейском прошлом.

«Товарищи бойцы и командиры 112 полка 29-й стрелковой дивизии! Если меня лишит армии, я погибну, как я есть батрак и нахожу, что уволившись против зимы, не найду себе должность. И с другой стороны помощи не нахожу, партсекретарь говорит одно, а на деле не оказывает. А Красной Армии я благодарю, что научила писать и читать и понимать казусы мировой революции. Отставленный от Красной Армии буду страдать до конца моей жизни. И затем да здравствует вождь пролетариата и советской власти под руководством Коммунистической партии».

Письмо не помогло. Но пожалевший никчемного парня помполит т. Войто дал демобилизованному бойцу отличный совет: «Поезжай-ка ты, бедолага, в Москву, там еще ни кто не пропадал, на всякого дело найдется».

Люди, к ратному делу неискусные, как показала жизнь, могут преуспеть на войне с теми, кому и в голову прийти не могло оказывать им сопротивление.

Трудно сказать, как бы сложился саамский заговор, если бы Всесоюзное акционерное общество организационного строительства, «ОРГСТРОЙ», располагало в Москве только одним адресом, на Ильинке, в Рыбном переулке, в доме 2. Ну, содействовало бы оно себе рационализации техники управления, ну внедряло бы по мере сил наиболее совершенные для своего времени организационные системы и технические формы работы в учреждениях, проводило бы квалифицированные инструктажи по вопросам операционных процессов, техники торговли, счетоводства, учета и делопроизводства.

Но был и второй адрес у ОРГСТРОЯ, на Кузнецком Мосту, угол Рождественки, дом 20-б, где располагались экспедиция и склады.

Иван Михайлович Михайлов после долгих полубездомных мытарств по Москве прибил-таки к Оргстрою, и зацепись он по первому адресу, на Ильинке, может быть не только его, но и многих других людей жизнь сложилась бы как-то иначе. Он даже обратился в поисках работы как раз в главную контору на Ильинке, но в силу ничтожного образования был переадресован на Кузнецкий Мост, ставший в его биографии мостом почти что Аркольдским, приведшим его на Лубянку.

Вот здесь-то, совсем неподалеку от огромного здания бывшего страхового общества «Россия», выходявшего фасадом на Лубянскую площадь, Иван Михайлович нашел себя сначала, как грузчик рациональной конторской мебели, доставлявшейся гужевым транспортом заказчиком. Карьера грузчика Ивану Михайловичу не задалась, не обнаружив достаточной физической выносливости, был он по неизмеримому человеколюбию и милосердию старшего экспедитора Андрона Кальпуса переведен на доставку картонажного оборудования для контор и управлений.

Обложки и папки для хранения дел, разделители с прокладками-указателями для дел и карточек, конверты с прозрачными окнами, формуляры и карточки по учету, счетоводству и хранению деловых бумаг упаковывались в объемистые пакеты согласно заявке. Ивана Михайловича навьючивали канцелярским картоном в пределах его грузоподъемности. Объясняли, как короче добраться до заказчика, и выпускали в город в свободный полет.

Уже через полгода работы по доставке Иван Михайлович мечтал о работе под теплой крышей, а не в городской толчее, под дождем, в снежной каше, в пыльных вихрях. В переполненный трамвай с такой поклажей и не думай соваться, весь день на ногах, зато город он узнал очень неплохо. И какой-нибудь Кривоколенный переулок, спрятавшийся черт знает где, или ставший из-за новой застройки дворовым проулком Мало-Спасо-Глинищевский, рядом с Ильинкой, черт его найдет! были ему так же хорошо знакомы, как дыры в собственном кармане. И о новых адресах Иван знал лучше других. «Вань, улица имени Первого мая это где?» «Да Маросейка!» «А Роза Люксембург?» Знал и про Розу Люксембург.

Андрону Кальпусу удалось найти надежного клиента в лице Главного управления ОГПУ, потреблявшего папки, формуляры, учетные карточки в огромных количествах. Доставлявший свой товар на восьмой подъезд Иван Михайлович был всегда в хорошем расположении духа, поскольку от Кузнецкого Моста до Лубянки рукой подать. А платили ему с веса, а не с расстояния.

А дальше счастливый случай. К принимавшему канцелярский скраб младшему инспектору отдела учета Хозяйственного управления ОГПУ Брониславу Леопольдовичу Тау, совершенно между прочим, обратился выходявший через восьмой подъезд сержант с характерной фамилией Резник и поинтересовался, не знает ли он, Тау, где на Стромынке Слезный тупик. Младший инспектор отдела учета только пожал плечами, а Иван Михайлович, хотя его и не спрашивали, и даже в силу небольшого роста и невыразительности черт, и вовсе не заметили, тут же поднял свои синие глаза на спрашивающего сержанта и с готовностью отозвался. «Знаю, – сказал Иван Михайлович, – и ехать лучше не через Коланчовку, а через Марьину Рошу». «Кто такой?» – спросил сержант Резник у младшего инспектора Тау, давая понять, что не со всяким случайным человеком он станет разговаривать. «Разносчик из Оргстрога», – пояснил Бронислав Леопольдович Тау. «Поедешь с нами, будешь понятным и дорогу покажешь», – сказал вкисивший немалой власти сержант так, словно перед ним был пусть и маленький, но не совслужащий, а извозчик на Арбатской бирже. Резник только недавно был взят на Лубянку, ему не хотелось выглядеть новичком. Как разговаривать, учился у старших, а недостающие знания старался собирать по ходу дела.

Вот так, по ходу дела, состоялось знакомства Ивана Михайловича Михайлова и сержанта Резника. Для сержанта, переведенного в Москву из Медвежьегорска, Иван Михайлович оказался живым путеводителем по Москве и ближним пригородам.

Сначала привлекался, как общественник, а дальше рабочий стаж и незапятнанная профсоюзная карточка открыли Ивану Михайловичу двери большого дома на Лубянке, двери, быть может, с самыми крепкими запорами. Двери-то открылись, но мечта работать под крышей сбылась не сразу, первые полгода побегал курьером, пригодилось его отличное знание города, еще полтора года топтался в наружке, потом уже перешел на следственную работу в звании «кандидат на звание».

Люди в ОГПУ росли быстро, но быстро и отцветали, исчезая где-нибудь в глубинке или еще дальше. Хорошие вакансии открылись после партчистки 1929 года, которую, не в пример партчистке 1927 года, многие проходили со скрипом. После НЭП, а партия строго следила за теми, в ком давали себя знать отрывки левого уклона, кто заболел комчванством, кто оторвался в силу хозяйственного, собственнического обрастания. Партия нацеливала на изгнание тех, кто обнаружил склонность ко всякого рода излишества. Иван Михайлович ни чем еще обрасти не успел, не говоря про излишества, зато с его кандидатской карточкой и безупречным, хотя и коротким, послужным списком открылась хорошая перспектива для роста.

Не столько талант, о котором говорить не приходится, и даже не беззаветное усердие, питаемое, с одной стороны, чувством сродни страху, с другой стороны, понятным на такой работе тщеславием, решили судьбу бывшего батрака, а, скорее всего, постоянно возрастающая потребность в преданных и готовых на все кадрах.

Постановлением Политбюро в 1929 бюджетном году штат ОГПУ расширялся на восемьсот человек. С одной стороны, началось невиданное дотоле перемещение по стране огромных масс людей, спецпереселенцев, а с другой стороны, и следственной работы прибавилось. Так что уже на 1930 год Политбюро предусмотрело увеличение штата сотрудников ОГПУ на три тысячи сто шестьдесят пять человек. На этой волне, нашедший, наконец, свое призвание, почувствовавший вкус к настоящей работе, Иван Михайлович в течение трех с половиной лет оформился в не знающего устали оперативника.

Когда, наконец, Ивана Михайловича, вчерашнего курьера и топтуна, вызвали в кадры и направили в распоряжение Эдуарда Романовича Киррса, Ванька, немало к тому времени уже повидавший врагов соввласти, даже и вообразить не мог, какие дела творятся на свете. Войдя в кабинет помощника начальника 1-го отделения Секретного отдела ОГПУ, Иван Михайлович доложил, как положено. «Разве это я просил?» – осмотрев нового сотрудника с ног до головы, сокрушенно сказал Эдуард Романович. Ванька знал, что не на все вопросы начальство ждет ответа. «Я волкодава просил, а мне что прислали? С тобой только на крыс и мышей охотиться». Лицом Иван Михайлович не дрогнул, а сердце екнуло, если завернет обратно, неизвестно, как оно обернется. Могут и погнать, у них это запросто. «Что это ты такой плюгавый? Это в какой же щели тебя нашли?» – спросил т. Киррс, сам-то под два метра и грудь под френчем, как мельничный жернов. Ум подсказал Ваньке, что надо улыбнуться, и он улыбнулся. «Не обидчивый? Это хорошо», – понимая, что другого не пришлют, сказал пом. Нач. 1-го отделения Секретного отдела ОГПУ. «Рожа у тебя деревенская... Ты Москву-то хоть знаешь немного?» – думая о своем, не глядя на Михайлова, проговорил пом. Нача. «Много знаю», – уверенно, с достоинством сказал Иван Михайлович и пояснил: «Два года в наружке. До этого полтора года курьер-разносчик от ОРГСТРОЯ». Эдуард Романович только покивал головой, смиряясь с судьбой, и начал вводить нового бойца в обстановку. «От нас ушел Карелин, Аполлон Андреевич, Командор Восточного ордена тамплиеров в России», – сказал и посмотрел на Ваньку, стоявшего все так же «смирно».

Эдуард Романович был уверен, что его новый сотрудник слово «тамплиер» слышит первый раз в жизни, но Ванька много чего слышал в этих кабинетах первый раз в жизни и знал, что все нужное разъяснят, если потребуется.

– Карелин был секретарем Всероссийской Федерации анархистов-коммунистов. Потом перешел к анархо-мистикам, – продолжил Эдуард Романович, строго глядя на Ваньку.

А Ванька даже не старался запоминать услышанное и не пытался делать умное лицо. Он понял главное, раз т. Киррс с ним заговорил, раз вводит в обстановку, значит, дальше будет, как и раньше. Выпишут ордер. Дадут адрес. Скажут, кого брать, куда доставить. Ну, при допросе придется помочь, или протокольчик вести, или с арестованным «поработать».

Эдуарду Романовичу даже небольшое округлое личико Ваньки показалось не таким уж пустым, и глаза смотрели так по-летнему ясно. В двух словах он поведал о том, что Карелин ушел, в смысле, умер, три года назад, а хвосты его, анархисты-коммунисты и анархо-мистики, остались. В какую-то минуту лицо Ваньки показалось т. Киррсу даже разумным, и он уже хотел дать ему для ознакомления книгу Карелина «Древний Египет в современной проблематике духовного возрождения», но вовремя передумал, понимая, что с этой стороны он обойдется без помощников. Но о главном все-таки сказал: «Анархо-мистическая организация «Орден Света» ставит целью борьбу с соввластью, как с властью Пальдобаофа, это одно из воплощений Сатаны. А для этого ведет пропаганду мистического анархизма с целью установления анархической власти по всей стране».

Операцию они с Ванькой провели великолепно. Киррс удивлялся, новый помощник помощника Начальника 1-го отделения работал, как хорошая операционная сестра, понимая, что нужно, с полуслова, а то и по взгляду, и по кивку головы. Понимал даже когда на него орали, в то время, как других сотрудников громовый голос т. Киррса вгонял в оцепенение. Дело вышло сравнительно небольшое, на двадцать пять душ, четверо пошли под «высшую меру». А поработать бок о бок с таким мастером как т. Киррс, это такая школа... В кадрах тоже люди знают, кто у т. Киррса продержится хоть с полгода, работать будет, и будет расти.

Скромные дары природы Иван Михайлович не смог употребить ни к какому похвальному делу. Зато качества низменные, те, что не делают людям чести, нашли государственное употребление и обеспечили и ему вполне прочное положение в жизни. А еще он должен был всю жизнь благодарить Ульяния Хритова за его подзатыльники и зуботычины, страх оказаться возвращенным в крестьянскую нежить лучше любой политико-воспитательной работы настраивал Ивана Михайловича дорожить наконец-то засветившим ему счастьем.

Есть люди, которым природа из всех своих необъятных возможностей, в возмещение каких-либо талантов, дарует одно лишь самолюбие, непомерное и даже отчасти изнурительное. Любить себя более всего в мире – занятие не из простых. Хамоватые воображалы, не упускающие случая, чтобы не отозваться о себе с похвалой, или усердные помощники, растущие при больших начальниках таким подлеском при больших деревьях и в тени этих деревьев пребывающие, утоляют свое самолюбие вполне бесхитростно. Людское невнимание к себе и начальственную неблагодарность они восполняют некоторой порцией фанфаронства, пусканием пыли в глаза там, где тому благоприятствует территория и публика. А возвращаясь в свою служебную шкуру, они снова надевают доспехи с девизом, видимым за версту: «Скромность и исполнительность».

Не был ущемлен своим невысоким званием младший лейтенант Михайлов, Иван Михайлович.

Малое свое звание вы чувствуете, когда окружены лицами, удостоенными званий, превосходящих ваше. Если вы окружены кавалерами множества орденов и еще большего количества медалей, а ваш костюм украшают лишь два ряда пуговиц, конечно, вы чувствуете себя если не голым, то и не вполне одетым. Алая звезда над карманом гимнастерки Ивана Михай-

ловича поднимала его, да еще как, в глазах окружающих, не выше майора, конечно, но все-таки очень высоко, разумеется, выше всех прочих младших лейтенантов.

Змея самолюбия, угнездившаяся на крохотной территории, в узкой груди Ивана Михайловича, хотя и будет в свое время пригрета орденом Красной Звезды, все равно жалила и жалила оперативное сердце всякий раз, когда он слышал о чужих удачах, чужих победах.

Самолюбие и тщеславие всегда, как голодный птенец, сидят с открытым клювом, и что бы ты туда ни бросал, какими лакомыми победами ни пытался насытить это прожорливое чрево, утоление вечной жажды наступает лишь на миг, на час, на день-два, и вот уже шум праздника на чужой улице напоминает о том, что твоему празднику пришел конец, а может быть, и забвение. И вот тогда-то проголодавшаяся змея самолюбия требует не упускать случая...

Иван Михайлович свой случай нее упустил.

Да, именно Ивану Михайловичу Михайлову, человеку в простой солдатской шинели, на подстежке из гагачьего пуха, принадлежит заслуга раскрытия Саамского заговора, угрожавшего стране отторжением, потерей территории от Кольского полуострова до Урала включительно.

11. Иван Михайлович – отточенный клинок

В Ловозеро Михайлов прибыл, безропотно подчиняясь дисциплине, но в душе остался, куда деться, горький осадок. По-человечески это так понятно! После успешно проведенной операции в Ленинграде, где ему досталось ликвидировать «правотроцкистскую низовку», публику многочисленную, но мало приметную, это была ссылка, хотя Кожухов в кадрах ему улыбнулся и сказал: «Езжай, семужки свежей покушаешь, отдохнешь...»

Вот Кожухову бы здесь и отдыхать. Разгар лета, только что-то оно, лето это, не разгорается, низкое небо смотрит ноябрем. Моросит мелкий частый дождик, воздух просто пропитан водой, мешающей дышать. По склонам сопков, в ложбинах белел так до июля и не сошедший снег.

Ловозеро Ивану Михайловичу не понравилось, с первого взгляда, с первой же прогулки из поселка на берег. А может быть, сам Иван Михайлович не понравился Ловозеру?

Серая громада неба всей своей чугунной тяжестью привалилась к земле и, казалось, вот-вот обрушится вниз черным снегом. Порывистый ветер пинками гнал по озеру волну, выбегавшую далеко на берег, облизывая сходни разномастных деревянных сараюшек, где люди прятали лодки и рыбацкие снасти. Взбитая ветром белая пена над черной водой казалось снегом, слетевшим с распластанной на противоположном берегу туши Котовой сопки. Почему Котовой? По виду уж скорее «Китовой», где это такие котяры водятся, а поди же! Тяжелый полог сумеречно тек над озером, над притихшей, истрепанной, как сиротская одежонка, землей, предвещая долгую темную непогоду. Ветер умудрялся быть колючим даже без пыли и снега, колот одним холодом. Лесок, тянувшийся между поселком и озером, был похож на голову драчуна, на которой после хорошей трепки среди изрядных проплешин местами еще уцелела небогатая поросль. Сбившиеся в небольшие рощицы низкорослые тощие сосенки крепко вцепились в кремнистую землю, держались дружно, стойко, а разбежавшиеся по проплешинам березки и рябинки под ударами ветра гнулись в пояс, словно их за неведомую вину угощали затрещинами. Мелкий кустарник и вереск дрожали под ветром, льнули к земле, казалось, что землю знобило. Все живое попряталось кто куда, а ветер кидался из стороны в сторону, рыскал, словно искал кого-то, на ком можно было сорвать свою злобу и показать, кто здесь хозяин. Ворвись такой ветер в город, то-то было бы пыли и грохоту, а здесь все, что можно было, уже сдуло и унесло, земля лежала вылизанная, чистая и сырая.

А всего через три часа выглянуло солнце, тучи унеслись, серый пепельный полог ожил, наливаясь робкими красками жизни.

Под солнечными лучами доверчиво расправили свои лепестки полярные цветы. Здесь нет самодовольных пышных гордецов, изнемогающих под тяжестью собственного величия. Но взгляните в любой цветок, рискнувший взрасти среди неприятных камней, на полянах, продуваемых ледяным ветром даже в июне. Они покажутся вам обнаженными и беззащитными, но всмотритесь в их скромный наряд, он прост, как у воина, не берущего ничего лишнего. В них гордость, отвага, достоинство принявших вызов! Кружевные лепестки подрагивают на ветру, но вовсе не от озноба, они стряхивают холодное прикосновение ветра, как гордец сбрасывает движением плеча руку незваного покровителя.

Спрятавшегося в теплой комнатенке при райисполкоме Ивана Михайловича прояснившееся небо на улице не выманило. В этом временном жилье предстояло пожить, пока протрезвевший Орлов сдаст дела. «Работничек, – срывал на нерадивом предшественнике злость Иван

Михайлович, – сейфа завести не сумел». Для Михайлова только сейф, только ключи от сейфа, были символом власти даже более весомыми, чем револьвер. «Не тот материал, что в камере, тот материал, что в сейфе», – говаривал учивший уму-разуму Киррс.

Глядя в окно с ключьями старой ваты вокруг рамы, он размышлял: «Какая уж здесь работа? Да и начальство далеко... А может, и вправду, дали отдохнуть... С чего Орлов-то закурился? От безделья, да от скуки... Да, в Ленинграде ему скучать бы не дали... А здесь аж опух от пьянки...»

Отдых после тяжелой работы, это в какой-то мере, если задуматься, отвечало давней европейской традиции, соблюдавшейся людьми известной специальности. Во времена просвещенного Средневековья исполнители наказаний, ну, те, что рубили на площадях и других видных местах разные части тела осужденных, преимущественно, головы, давали отдохнуть, нет, не себе, конечно, работой дорожили, желающих выхватить верное дело из рук всегда сколько угодно, давали отдохнуть своему инструменту, посредством которого они приводили приговор в исполнение.

Инструмент, насытившийся кровью до пределов, известных только большим мастерам, отправлялся на покой.

После тайного сбора в глухую осеннюю ночь, непременно в непогоду, для затруднения наружного наблюдения, мастера шли в какое-нибудь потаенное место в дремучем лесу и закапывали поглубже в землю, подальше и от людских глаз, а, главным образом, от проворных людских рук, опившийся кровью меч, или топор, все равно. В этом ритуале был ясный, вызывающий понимание смысл. Опившийся и охмелевший от человеческой крови инструмент уже не может быть орудием справедливости. Как это верно! Вот они и закапывали, прятали, хоронили свои секиры. Прятали, потому что разного рода душегубы мечтали заполучить такой инструмент, гарантировавший успех в любом кровавом деле. За таким инструментом охотились, мастеров под осень выслеживали.

В этой связи, конечно, тут же приходит на память судьба таких выдающихся мастеров своего дела, как т. Агранова, члена коллегии ОГПУ, организатора знаменитых процессов 20-30-х годов, человека, тяготевшего к творческой интеллигенции, интеллигенцией этой ценимого, а потому непременно члена всевозможных писательских компаний. Писатели знали, что Якову Самуиловичу доверен за ними надзор, что он следит за политическими настроениями среди писателей, но на что он способен, не знали, просто видели в нем человека светского и по-свойски называли его Янечка. Агранов – это фигура! Недаром же именно т. Агранова привез с собой т. Сталин в Ленинград, куда приехал 3 декабря 1934 года убедиться в том, что его лучший друг, С. М. Киров, действительно убит. Именно т. Агранову т. Сталин в те холодные декабрьские дни поручил роль карающего меча. А в августе 1938 года т. Агранов, обвиненный в контрреволюционной деятельности, был отправлен на покой, на вечный покой. Ушли на тот же покой и такие беспощадные клинки как т. Стромин, начальник Саратовского УНКВД, т. Жупахин, начальник УНКВД Вологодской области, и некоторые другие видные ученики т. Фигатнера.

Да что и говорить, если самого т. Ягоду, и самого т. Ежова и даже т. Берию, возглавлявших Наркомвнудел, тем же манером, безвременно отправили туда же... на покой...

Только перед войной, за пять лет, сменилось трое полководцев незримой армии!

Конечно, Иван Михайлович Михайлов не идет ни в какое сравнение ни с Жупахиным, ни с Фигатнером. Так же как Жупахин и Фигатнер, скажем, с мастерами заплочных дел, сподвижниками Великого Петра, неподражаемыми руководителями Тайной канцелярии Ушаковым и Толстым. С Ежовым Николаем Ивановичем Иван Михайлович Михайлов сравним только что небольшим росточком и некоторой плюгавостью, а поэтому, придет время, и получит он всего семь лет отдыха в лагере общего режима, но будет это только еще в 1940 году.

В каждом деле есть свои традиции, и соблюдение их – это признак культуры, основы цивилизации.

Нет, не на пустом месте и неведь откуда взялись и т. Жупахин, и т. Фигантер!..

Вот Ушаков Андрей Иванович и Толстой Петр Андреевич, какие имена! два птенца «гнезда Петрова», действительно, словно природой созданы для того, чтобы наводить на людей ужас. Холодные сердца и горячий ум, в особенности, помог им постичь высшую мудрость учреждения царем-преобразователем Тайной розыскной канцелярии. Коль скоро таковая Великим Петром учреждена, то теперь непременно нужно открывать, открывать и открывать замыслы, заговоры и злоречие. Вот и начали собирать все непристойности о государе изреченные, хоть затрезво, хоть в пьянстве, и наказывать, наказывать и наказывать. Наказывали, как государь Петр Великий указал, и дыбой, и плетью, и каторгой, и вырезанием ноздрей до кости, и колесованием, и четвертованием, и скорым, а потому милосердным, повешением или отделением головы от туловища, смотря по вине, званию и заслугам. Устроитель новых порядков оставил в наследство потомкам наставление: «Обряд како обвиняемый пытается». Это детище царя-преобразователя расположено как бы на обратной стороне его достойных уважения деяний. Бумага толстая, серая, рыхлая, зато сама книга, видимо, предназначенная вечности, была облачена в кожаный переплет, без тиснения на обложке, словно в кожаном пальто, несла сквозь века методику извлечения подноготной правды.

Загляни в пособие, и будешь знать, как обустроить «застенок с крышей» и как записывать «пыточные речи» и «крепить их судьями, невыходя иззастенка». Работа все-таки была кустарной. «Икогда назначено будет для пытки время, то кат или палач явится должен взастенок с своими инструментами, а оные есть: хомут шерстяной, хкоторому пришта веревка долгая; кнутья, и ремень, которым пытанному ноги связывают». Немало средств, рекомендованных для «изыскания истины», было почерпнуто Великим Петром из богатого европейского опыта. Методы дознания, если можно так выразиться, в просвещенной Европе были в ту пору куда разнообразнее, изобретательнее, изысканней, если хотите, но, пустившись за ними вслед, и наши наверстывали по мере сил, учились у Европы. Вот прием под «номер Вторым» ну явно же одолжен у Испании: «Наложа на голову веревку и просунув кляп и вертят так, что оной изумленным бывает; потом простригают на голове волосы до тела, и на то место льют холодную воду только что почти по капле, от чего тоже в изумление приходит».

Но, кроме непосредственной работы с человеческим материалом Толстой и Ушаков немало времени уделяли «бумажному сыску», дававшему очень неплохие результаты. В неутомимом усердии требовали справок и объяснений от разных людей и учреждений, плодили переписку, бились и хлопотали, пока недоверчивый и подозрительный император не увидит, что только благодаря усердию и преданности своих верных слуг он спасен, а непотребные его подданные обнаружены и по делам наказаны. Разного рода отличия, богатые земли, крестьянские души были достойным воздаянием за непосильные труды верных стражей престола.

Нет, что бы там ни говорили, а природа в беспечном своем многообразии чего только не вырабатывает, в том числе и особого рода людскую материю, самой сутью своей приспособленную для служения неприглядному делу. Люди эти, не отвлекаемые разнообразием жизни, как-то находят друг дружку и легко соединяются в прочные сообщества. Их сердца не сокрушаются при виде чужих бед, их главное достоинство – способность не чувствовать чужую боль. На них во все времена есть спрос, и прежде всего у власти.

12. Опережая замыслы врага

Маму увезли на глазах Светозара, это было двадцатого октября 1937 года.

Светозар возвращался из школы, подходил к дому, когда увидел у крыльца эмку. Это было огромное везенье, к отцу иногда приезжали на машине, и тогда можно было попроситься посидеть в машине, на шоколадного цвета кожаных сиденьях, прикоснуться к кругленьким гашеткам под приборами, напоминавшими часы, но служившими вовсе не часами. Каждый приезд к отцу машины был маленький праздник и большое везенье. Светозар ускорил шаг и в это время увидел, как из дома вышел военный в португее и с кобурой, огляделся с крыльца и что-то сказал в открытую дверь. Из дома вышла мама в беличьей шубке с узлом, завернутым в зимний платок, за ней вышли еще двое военных, тоже с пистолетами на поясе поверх шинели. «Светик!..» – оглянувшись на военных, позвала мама. Сын стоял, не двигаясь с места, пытаясь понять, куда собралась ехать мама, почему нет папы? Первый военный распахнул заднюю дверку эмки, второй слегка подтолкнул маму в спину. Мама, не почувствовав тычка, шагнула в сторону Светозара, и он понял, что она хочет что-то сказать, объяснить, и тоже двинулся к ней навстречу на непослушных ногах. Но военный почти впихнул маму в эмку. Не глядя на мальчика, военные сели в машину, жестяно, как несмазанные замки, лязгнули захлопнувшиеся дверки. Завыл стартер, но мотор не завелся. Светик подошел к машине, но не близко, и все равно видел маму, сидевшую между двумя военными. Она что-то им говорила, оборачивая лицо то к одному, то к другому, но они смотрели прямо перед собой и ничего ей не отвечали, словно не слышали. Стартер со скрежетом завывал и в бессилии замолкал. У шофера лопнуло терпение. Он вышел из машины, в короткой куртке, форменной фуражке и белых фетровых бурках, с шоколадным кожаным низом, в таких ходили в Мурманске только большие начальники. Шофер строго взглянул на мальчика, словно тот был помехой, достал из-под сиденья заводную ручку, вставил ее в дырочку в бампере, просунул под радиатор, ухватился двумя руками и крутанул так, что машина закачалась, словно налетела на ухабы. Крутанул раз, два, три, прислушался и, явно обозлившись, крутанул без перерыва раз семь. Неожиданно мотор взревел, да так, что Светик испугался, не сорвется ли машина с места, тогда она придавит шофера. Но тот, не спеша, вынул согнутую в два колена рукоятку, сдвинул на затылок фуражку, отер пот, бросил недобрый взгляд на Светозара, будто он виноват в том, что машина сразу не завелась, и сел за руль. Глухо чавкнула дверка.

Только когда машина уехала, Светик заплакал и пошел домой. На улице, несмотря на дневное время, не было ни души.

На круглом обеденном столе в столовой Светозар заметил развернутую тетрадь, свою тетрадь по истории, на чистой странице карандашом было написано: «Светик, я скоро вернусь. Суп на плите. Будь умницей. Целую. Мама».

Первая мысль была «Пропала тетрадь», в школу уже не принесешь, потом подумал, что карандаш можно и стереть. А после уже спокойно рассудил, раз скоро вернется, вот вместе и сотрем. «И я ей расскажу, как я испугался, когда шофер крутил заводную ручку, а я боялся, что машина заведется, сорвется с места и его задавит!».

От этих привычных слов, «скоро вернусь», страх почти исчез.

В доме было три комнаты и кухня. Одна из двух маленьких комнат именовалась «светелка», по имени обитавшего там Светозара. Вторая была кабинетом и спальней, хотя Алексей Кириллович предпочитал заниматься, раскладывая старые журналы, рукописи и книги на просторном овальном обеденном столе в большой комнате, по старой традиции именовавшейся столовой. Каждое занятие, которому предавался ученый и общественный деятель, требовало своего особого пространства, так почти бессознательно подсказывало какое-то внутреннее чув-

ство. Многообразные интересы языковеда, историка, этнографа располагали к занятиям за просторным столом. Необозримые пространства тундры подвигали его к мыслям о вечном. А вот письма, предполагавшие личное общение с корреспондентом, Алексей Кириллович предпочитал писать за небольшим письменным столом, уместившимся в спальне. Переписка была обширной, и редкий день проходил без того, чтобы допоздна не приходилось сидеть за почтой.

Светозар вошел в дом, и только здесь потекли слезы. Утираясь варежкой, не раздеваясь, прошел через прихожую в столовую, заглянул в родительскую спальню и к себе, оставляя на полу горстки не спешившего таять снега.

В доме было все перевернуто вверх дном, в родительской спальне на полу оказались пустые ящики из письменного стола отца, хранившие аккуратно рассортированную переписку, рядом вываленные простыни и наволочки, из платяного шкафа прямо на пол были брошены мамины кофточки, лифчики, чулки, ночные рубашки... Даже матрас с кровати был сдернут, словно там происходила какая-то борьба. В столовой все сиденья стульев и кресла были проткнуты насквозь вместе с мягкой обивкой. Буфет стоял нараспашку, а часть столовой посуды неровными стопками возвышалась на полу.

Светозар ходил по дому в уличной куртке и ушанке, будто это был уже не их, не его дом, а то ли проходной двор, то ли кусок улицы. А когда вспомнил, что надо раздеться, тут же почувствовал озноб, в доме было студено, хотя все форточки были закрыты. Открытой нараспашку осталась входная дверь, о которой паренек, ошеломленный произошедшим на его глазах, просто забыл. У крыльца стояли две уличные собаки, с недоумением, склонив чуть набок головы, они смотрели на открытую дверь, не решаясь войти без особого приглашения. Увидев появившегося в дверях Светозара, обе завилили пушистыми хвостами, выказывая готовность к дружескому общению. Впрочем, та, что была побольше, рыжая с обвислыми ушами, вдруг села на снег и начала яростно вычесывать блох, виновато отвернув острую мордочку в сторону. Вторая подвинулась к крыльцу, надеясь на что-то хорошее.

Светозар закрыл дверь.

После ареста и исчезновения Серафимы Прокофьевны, а десятого декабря отказались принять для нее продовольственную передачу и деньги, Алексей Кириллович постоянно ждал, что могут прийти и за ним.

Двенадцатилетний сынишка, в домашнем обиходе именуемый Светик, с удивлением заметил, как после того, как из дома увезли маму, изменился отец. Всегда куда-то спешащий, делающий разом несколько дел, возвращающийся из своих бесконечных поездок переполненным всевозможными историями, отец вдруг стал похож на человека, то ли что-то позабывшего и пытающегося вспомнить, то ли на человека, который что-то ищет.

Светик любил смотреть, как отец, поставив на обеденный стол зеркало с маминого комода и постелив на колени специального назначения холстину, усаживался подстригать усы и бородку, округло прикрывавшие губы и обрамлявшие подбородок. Отец сначала поворачивал голову в разные стороны, присматривался, словно прицеливался, щелкал ножницами, как делают настоящие парикмахеры, потом поворачивался к сыну, удивленно смотрел на него, словно не узнавал, заговорщически подмигивал и приступал к стрижке.

Вот это подмигивание делало их сообщниками, и Светик чувствовал себя причастным к такому настоящему мужскому делу.

С отцом было интересно все, пилить дрова, растапливать печку, клеить бумажные цепи на новогоднюю елку, даже мыть посуду.

Важное дело отец начинал с поисков «чрезвычайного и полномочного представителя директора Мурманского краевого музея». С озабоченным лицом он проходил мимо Светика и на ходу спрашивал: «Вы не видели чрезвычайного и полномочного представителя...» Или – «Вы не могли бы сказать, чрезвычайный и полномочный представитель уже прибыл?» У Светозара от этих вопросов замирало сердце, но он старался удержать себя в роли и отвечал с

достоинством: «Чрезвычайный и полномочный перед вами». После этого следовало приглашение, самое малое, помыть посуду, а то и навести порядок на чердаке, отправиться в сарай колоть дрова, носить наколотое для печки и плиты, копать огород. С отцом все было интересно и неожиданно, и беда не в беду, и промах не в обиду. Забегается с ребятами во дворе, забудет про дрова, отец никогда не скажет, как мама: «Почему до сих пор дров не принес? Сколько раз тебе говорить?» или что-нибудь в этом роде.

Отец никогда не произносил наставительных выговоров. Увидев отсутствие дров перед печкой, отец грозно возвещал: «И за нерадение истопник Прошка будет подвергнут строгому взысканию!» и «истопник Прошка» летит в сарай за дровами.

Увидев тетради сына двойку, Алексей Кириллович, покачав головой, возглашал: «Убоясь бездны премудрости, вспять обратился».

За разбитую тарелку Серафима Прокофьевна ругала, посуды в доме было небогато, отец же вставал на защиту: «Необдуманность, извиняема порывами гения. Пушкин».

Если после школьной драки Светик приходил домой в слезах и с разбитым носом, мама обрушивала на него всю свою медицинскую премудрость, вперемешку с охами и ахами. Отец же, когда случалось быть свидетелем мальчишеской скорби, только посмотрит и важно скажет: «А бывают у них меж себя брани до крови и лая смрадная!» – и дворовая ребячья «стычка» уже высвечивается былинным светом, становится событием прямо-таки историческим. И еще не утерев как следует слез, Светозар начинал улыбаться. И похвалить отец мог так, как никто на свете: «По ревностным вашим стараниям пребываем к вам от нашей милости благосклонны».

С отцом можно было говорить о чем угодно. «А Солнце большое?» «Как сказать? Пять расстояний до Луны, это его диаметр. Миллион триста тысяч километров, примерно». «А за что Павла Первого убили?» «Дело, брат, темное. То ли англичанам не угодил, то ли свои работодатели испугались за свое добро. Мог ведь под настроение и крепостное право отменить».

Как-то, сидя у печки, Севтозар спросил отца о вере. Тот чуть удивленно взглянул на сына, стараясь угадать, чем этот вопрос рожден. Специально выждал паузу, давая понять, что вопрос не из простых, потом взял в руку кочергу и обколотил догорающие поленья. И когда Светозару показалось, что отец или не расслышал, или просто не хочет отвечать на его вопрос, услышал:

– Вообще-то лучше всего на этот вопрос мог бы ответить человек верующий. Я, как говорится, этой благодати лишен. Это все равно, что спросить человека, никогда не любившего никого кроме себя, к примеру, что такое любовь. Вера, вера, вера... Вот что я тебе расскажу. После смерти царя Алексея Михайловича и недолгого правления его сына Федора Алексеевича, на русском престоле оказались двое молодых людей, для них даже трон двойной сделали. Один сын был от первой жены царя, шестнадцатилетний Иван, и сын от второй жены, Петр, вовсе десятилетний. Иван был существом болезненным, к государственной деятельности непригодным, а Петр слишком мал. А за каждым стоят семьи, за Иваном родня его матери, Милославские, Хованские, старшая дочь Алексея Михайловича, царевна Софья. За Петром клан его матери, Натальи, Нарышкины, ее родня, Матвеевы, тоже сильная партия. Софья и ее сторонники подговорили стрельцов на бунт. Те ворвались в кремлевский дворец бить Нарышкиных и их сторонников. Расправа на месте, как говорится, без суда и следствия. В горячке побоища приняли стольника Федора Салтыкова за Афанасия Нарышкина, брата царицы Натальи, и, недолго думая, убили Салтыкова. Сначала убили, потом поняли, что убили не того. Что делать? Отнесли тело к его отцу, известному и всеми почитаемому боярину Петру Салтыкову, стали извиняться, оправдываться, что-то лепетали, лукавый попутал... А старик их оборвал, не стал слушать, только произнес: «Божья воля!» и велел угостить убийц, раз уж в дом пришли, вином и пивом. Ты спрашиваешь, что такое вера, вот она. Верит боярин, что все судьбы в руках Божьих, а почему одна судьба так сложилась, а другая иначе, не человеческого ума дело.

– Я бы так не смог, – сказал Светозар.

– Что не смог? – спросил отец.

– Убитого сына принесли, а он... вино, пиво... угощение убийцам... – Светозар даже непроизвольно замотал головой, отгоняя живо представившуюся ему картину.

– Ты спрашиваешь, что такое вера, вот это она и есть.

– Они перестали убивать? – чуть помолчав, спросил сын.

– Куда там, только во вкус вошли. Выпили и пошли ошибку «исправлять». Афанасий Нарышкин спрятался под престолом в Воскресенской церкви, нашли, на паперти изрубили и бросили на площадь. Ивана Нарышкина нашли в своем доме за Москвой-рекой. Убили. А в кровавом похмелье убили ненароком князя Михайлу Долгорукого. И тоже пришли к его восьмидесятилетнему отцу с извинениями, дескать, погорячились. Так ведь и старик тоже угостил и вином и пивом убийц сына. Только сказал что-то старик-князь, что стрельцам не понравилось, рассекли его на части и выбросили за ворота на навозную кучу...

– А эти, которые убивали, они какой веры были? – спросил Светозар.

– Той же, крещеные. Православные. Как говорится, единоверцы.

Если бы Алдымову сказали, что чувство деятельного сострадания едва ли ни главная движущая сила его души, он, быть может, удивился и заговорил бы о чем-нибудь другом, не было у него привычки ни вглядываться в себя, ни вести о себе разговоры.

Теперь Светозар топил печь, приходя из школы, а к приходу отца со службы растапливал еще и плиту, вечером отец стряпал, еду готовили на три-четыре дня, благо на холоде все хорошо сохранялось.

С тех пор, как увезли маму, отец стал забывать, подолгу не стриг усы и бородку, отчего они распушились и утратили привычную строгую форму. Но ощущение беды, пришедшей в дом надолго, Светик почувствовал, когда перед Новым годом, заранее чувствуя недоброе, робко спросил отца: «Чрезвычайный и полномочный интересуется, а цепи клеить будем?»

«Не знаю, милый, не знаю, – как-то торопливо проговорил отец, но, увидев глаза сына, уже обычным деловым тоном сказал: – Я думаю, ограничимся прошлогодними».

О «чрезвычайном и полномочном» больше не вспоминали, ни отец, ни сын. Игры кончились.

13. Отдых на полях истории

История из всех наук и самая гостеприимная и благодарная!

Посмотрите, как широко и приветливо растворяет Клио двери своего храма всякому входящему. Всякому! И встречному, и поперечному. И тому, кто с великой ученостью изучает и с тщанием крота обрабатывает необозримый материал, так и тому, кто с познаниями краткого учебника готов выступить судьей и прокурором на историческом процессе. Забредают ненароком в храм Клио и чувствуют там себя как в своей тарелке и те, кто только что чайной ложкой почерпнул исторические знания из газет и красочных журналов, и, прочтя зажигательную статью, спешит поделиться своими соображениями о путях человечества.

История единственная в своем роде наука, где может себя чувствовать, и чувствует свободно всяк, кто беспечно мыслит и беззастенчиво судит и рядит обо всем.

А еще история из всех наук наиболее склонна к беспорядочным связям. Во всех других науках связь между событиями, явлениями, причиной и следствием подчиняются раз и навсегда установленным правилам и законам.

Заметьте, та же арифметика опирается на общепризнанные и безусловные понятия, за которыми всем без исключения видится равный смысл. Числитель и знаменатель, слагаемое и вычитаемое всеми понимаются одинаково. Так же как логарифм и интеграл в математике серьезной, или ампер и герц в физике первой ступени. В любой науке есть начала, не усвоив которые невозможно ни шагу ступить, ни быть понятыми другими. Не станете же вы рассуждать о гармонии цифр с человеком, знающим из всей арифметики лишь – отнимание и деление.

Иное дело – история!

Вот где раздолье, вот где степь, по которой лихие кобылицы, ну и жеребцы тоже, могут мчаться во все стороны и мять ковыль фактов исключительно в нужную сторону.

Понятия, которыми пользуется история, могут растягиваться в разные стороны вплоть до противоположных. Известная сновка позволяет выработать какие угодно положения и доказательства. Отсюда и бесконечные пререкания и споры, в частности относительно нашей истории.

Ладно, если в прочих науках твердой опорой под ногами служат безусловные, не зависящие от человеческих умонастроений и выгод законы и правила, то разве не являются такой же незыблемой основой истории как науки – факты.

Но историю изучают по текстам, и, увы, тексты уже давно возобладали над фактами!

Никто же не считает Нестора, сообщившего, откуда есть и пошла земля Русская, «ученым», ну, хроникер, ну, летописец. И свою историю мы ведем не от ускользнувших от нашего зрения событий, а от сохранившегося рассказа. «Порядка у нас нет, приходите володети и княжить». Пришли, стали володеть и княжить. Синеус сел на Белом озере, Трувор в Изборске, Рюрик сел... То-то было Нестору видно через двести-то лет, как они сели княжить на Белом озере, да в Новгороде. В окошко смотрел и записывал. Нестор самый типичный «историк», то есть, идеолог пишет на заказ, для обоснования непреложной верховной власти династии Рюриковичей. Ясно же, как божий свет, что никаких братьев у Рюрика не было. Синеус? Трувор? Sine hus – родственники. Thru voring – дружинники. Оба «имени» собирательные существительные. Слова «синеус» и «трувор» обозначают не одно лицо, а множество лиц вполне ясного свойства – сказано же простыми шведскими словами – родственники! дружинники!

Известный закон, по которому горох имеет свойство отлетать от стены, в полной мере распространяется и на науку историю.

Так что наша история, считай, чуть не с первой страницы – художественное произведение, талантливо изготовленное к славе правителей. И как ни странно, в этом есть закономерность. Стоит вспомнить, что Клио, прежде чем стать Музой истории, была вдохновительницей

и покровительницей героических песен. И логика вещей, да и последовательность событий, все говорит о том, что «героическая песня» послужила предшественницей истории. И сколько бы потом ни призывали: «Хватит песен!» – никуда от этой привычки не уйти, остается только вычислять и угадывать, кто заказывает музыку.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.